

И
Л

И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Марсель
Эме
Красавчик

Марсель Эме Красавчик





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Marcel Aymé

Марсель Эме

Красавчик

Роман

Рассказы

*Перевод с французского
Предисловие Е. Злобиной
Составление Вал. Орлова*

Москва
«Известия»
1991

И (Фр)
Э 54

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор М. Канторович

Рецензент В. Ерофеев

Обложка художника А. Махова

ISBN 5-206-00238-0

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1991

Эме М.

Э 54 Красавчик: Роман. Рассказы/ Пер. с франц. Сост. Вал. Орлова. Предисл. Е. Злобиной.— М.: Известия, 1991.—192 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В жизни героя романа Рауля Серюзе происходит чудо: из тридцативосьмилетнего уважаемого буржуа, примерного отца и преданного супруга он вдруг превращается в молодого красавца. Различные перипетии, забавные и грустные, которые приходится пережить Раулю в связи с неожиданной метаморфозой, и составляют содержание книги.

Э $\frac{4703010100-002}{074(02)-91}$ 120-91

**ББК 84.4Фр
И (Фр)**

Мир открытых возможностей

Марсель Эме — писатель очень читаемый... а читать есть что: полторы дюжины романов, десятки рассказов, множество пьес, сборники эссе, три тома сказок... Итак, Марсель Эме — писатель очень читаемый и одновременно весьма почитаемый. Громкая известность пришла к нему после романа «Зеленая кобылка» (1933), который он опубликовал в тридцать с небольшим, и с тех пор не оставляла. Ему не раз присуждались престижные литературные премии; он был награжден орденом Почетного легиона, избран во Французскую академию; его книги переведены на все европейские и многие восточные языки, экранизированы, пьесы поставлены на сотнях сцен мира — словом, жаловаться на небрежение Эме не приходилось. После смерти (в 1967 г.) интерес к творчеству писателя еще увеличился, и сейчас выходит в свет полное собрание его сочинений — честь, какой во Франции удостоиваются лишь признанные классики, — публикуются посвященные ему статьи и монографии. При всем том находятся исследователи, которые считают признание недостаточным и утверждают, что Эме заслуживает большего. А именно серьезного изучения принципов его эстетики и мировоззренческой концепции, не менее интересной, чем, к примеру, философские теории Сартра или Камю... Здесь есть резон: действительно, основа творчества Марселя Эме — оригинальная концепция мира — привлекает литературоведов скорее попутно. Сию странную невнимательность некоторые критики объясняют в первую очередь тем, что наш автор был юмористом, а юмористы — люди, по определению, несерьезные; соответственно их и не берут всерьез. Однако надобно иметь в виду и «вину» самого Эме, который (в отли-

чие от того же Сартра) не только не декларировал свои взгляды, но, напротив, старался убедить читателя в их полном отсутствии.

Он так решительно отделял себя от авторов, понимающих творчество как особую миссию, «призыв» и «послание» человечеству; так упорно твердил, будто стал писателем лишь случайно, благодаря болезни, побудившей начать со скуки «марать бумагу»; с такой настойчивостью уверял: «У меня нет никаких мнений» ...«Я пишу исключительно для собственного удовольствия»... «В сущности, мне нечего сказать» — что сумел-таки заморочить иные неглупые головы. С какой целью? Скорее всего, без всякой, а просто — как в детстве морочил родных, прикидываясь наивным крошкой, — из любви к игре, мистификации, «чистому комедиантству». Надо думать, оттуда же, из невинного детства, идет и принципиальная беспартийность Эме. Воспитанный в деревне, где принадлежность к антиклерикалам — республиканцам или верующим — определялась принадлежностью к той либо иной семье, он с молодых ногтей узнал и гонения политических противников (если таковые слова применимы к сверстникам-католикам, отчаянно допекавшим Марсея), и суровую нетерпимость «своих»: в семь лет он, легкомысленно отправившись во вражеский лагерь, чтоб посмотреть через волшебный фонарь картинки про Жанну д'Арк, «оказался единственным республиканцем в церкви», и подвергся партийному внушению: «Такой большой мальчик должен понимать, что недопустимо заигрывать с церковной кликой». Иной, менее независимый представитель рода человеческого мог бы на всю жизнь пропитаться духом партийности — Эме, наоборот, приобрел стойкий иммунитет и никогда не играл в политические игры. Он вообще предпочитал развлекаться в одиночку, не входя не только в политические, но и в литературные организации, объединения, кланы и постоянно выказывая свою демонстративную независимость от оных. В 30-е годы он одновременно сотрудничал и в левых, и в правых изданиях; позднее отказался от орденовской розетки — по его словам, чтобы не

выглядеть смешным, но (рискнем предположить), возможно, еще и потому, что не хотел принадлежать ни к какому легиону, хотя бы и почетному; отверг он и кресло в Академии — «страшась скуки», но (опять-таки осмелимся на предположение), быть может, и затем, чтоб не входить ни в какое известное число, пусть даже в число «бессмертных»... Как говорил он сам: «Единственная подходящая для писателя партия — это его творчество». Отсюда, впрочем, не следует, будто творчество Эме было принципиально аполитичным. Нет, он достаточно часто и отчетливо выражал и свое неприятие социальных институтов — административных, правовых, церковных, экономических, — и свои неизменные демократические симпатии. Но это были именно его, никакой программой не предписанные неприятия и симпатии — так же, как его собственной, ни у кого не заимствованной была философская система, положенная в основу художественного мира. Займемся ею.

(Только сначала — небольшое отступление, причем от себя лично, а не от безличного «мы». Мне всегда казалось, что «профессионально» разбирать выразительные средства, коими пользуется большой писатель, оценивать чистоту стиля, выставлять похвальный балл за юмор и вообще с подобающей «веду» невозмутимостью рассуждать о его художественных достоинствах, а тем паче недостатках — дело нескромное. Ибо: кто он и кто я? Поэтому, позволив себе высказать простой читательский восторг — чистосердечное восхищение этим блеском, остроумием, этим каскадом великолепных парадоксов и тонким изяществом языка, — в дальнейшем ограничусь концептуальными аспектами.)

Итак, первое, что нам надлежит выделить, — отношение писателя к так называемым объективным законам действительности: он их отрицает. То есть он готов признать, что если смотреть «с точки зрения» Господа Бога, то, возможно, удастся обнаружить некие общие принципы мироустройства. Но такой уровень обзора человеку недоступен.

пен, потому не берется в расчет; а выводить «объективные» закономерности, основываясь на отмеренной нам реальности... Впрочем, не надо отвлеченных от текста рассуждений: привлечем конкретные примеры.

Вот коротенький, совершенно в духе Эме — изящный и парадоксальный — рассказ «Оскар и Эрик», в котором молодой художник оказывается предан остракизму и ославлен безумцем за то, что рисует некие странные растения, никогда не виданные в условной северной стране (где происходит действие). В финале, однако, выясняется, что Оскар вполне реалистично изображал разнообразные кактусы и всякие «равеналы, аллюодии, пеллициеры» — обстоятельно перечисленные научные названия призваны бесспорно засвидетельствовать сугубую достоверность «абсурдных» кустов и деревьев.

Этот маленький рассказ содержит три очень важных для автора мысли. Первая — о праве художника творить свой мир, не похожий на окружающее. «Если бы Бог создавал лишь то, что видел, он ничего бы не создал», — говорит Оскар; суждение логически безупречное (не зря Эме в молодости занимался математикой), но логика тут идет в одном направлении с интуицией. Ибо (перейдем ко второй мысли) право художника не есть право на произвол, творец способен видеть неочевидную реальность, которую люди не столь зоркие называют абсурдом — или чудом. Доказательства существования оной реальности могут быть добыты позднее или не добыты вовсе, не суть важно: мир, в котором мы живем (это уже мысль третья), очень ограничен, и если в нем чего-то нет, то никаких выводов отсюда не пристекает. Чтобы отчетливее провести идею, автор еще теснее сужает границы действительности, замыкая ее, в настоящем случае, северными льдами — и дает таким образом читателю, хотя бы по картинкам знакомому с тропической флорой, сразу догадаться, какие пейзажи изображены на полотнах Оскара. А заодно подводит к логически неопровержимому выводу: если условные оокланцы, не выдавшие ничего, кроме елок, смешны и

нелепы в своем отрицании палм, то и мы, обитатели маленькой планетки на краю галактики, имеем столько же оснований рассуждать про общие законы, сколько полагать, будто правила дорожного движения распространяются на весь универсум. Действительно, материал для наблюдений, который мы имеем, так непредставителен, что речь можно вести лишь о «частных случаях»; при этом их частая повторяемость, распространенность либо, напротив, единичность роли не играют. Пусть «человек, проходивший сквозь стены» (имеется в виду персонаж одноименной новеллы Эме) в своем роде уникален — ну и что, а на севере не растут кактусы. Но это совершенно не означает, будто кактус есть чудо. Так и способность проходить сквозь стены, присущая Дютийелю, или способность расщепляться, свойственная героине рассказа «Сабины», или дар речи, которым наделена Зеленая кобылка, или возможность прожить две тысячи дней в одном месяце («Талоны на жизнь»), или одновременное существование в двух измерениях («Близнецы дьявола»), или появление у нормальных родителей ребенка-кентавра («Помолвка») и прочая экзотика — никаких корректных доказательств ее принципиальной невозможности нет.

Конечно, Эме отнюдь не требует, чтоб читатель принимал его истории на веру — пусть, если угодно, расценивает фантастику просто как плодотворный и привлекательный (хотя необязательный) элемент сюжетосложения. «Моя материя — это не чудесное и не реальное, но то, что изменяет жизнь». А чудо как раз и дает импульс к такому изменению — расширению границ нашего малого мира. И позволяет проверить реакцию индивида: откликнется ли он на призыв неведомого или предпочтет остаться в рамках? будет вести себя, сообразуясь с «частным случаем» чуда или с регламентациями общества, автоматизирующего сознание и детерминирующего поступки? Тут возможны варианты. Ординарный чиновник Дютийель, ненароком открывший в себе экстраординарное свойство, регламентирован до предела: его мир замкнут

службой, ограничен правилами написания деловых бумаг. И странный дар, не соответствующий его «духовным запросам», остается невостребованным, пока этот регламент действует. А ничтожное изменение в нем вышибает автоматизированного человечка из колеи; однако он настолько не способен на какое бы то ни было самостоятельное движение мысли, что даже применение своим способностям может найти, лишь начитавшись уголовной хроники...

Раулю Серюзье, герою романа «Красавчик» (1941), пришлось тяжелее: чудо, случившееся с ним, требовало немедленной реакции. А произошло вот что: из малопривлекательного сорокалетнего субъекта он внезапно превратился в тридцатилетнего красавца. Казалось бы, о таком превращении можно только мечтать. Но если иметь в виду, что у Рауля есть жена, к которой он привязан, двое обожаемых детишек и солидное дело и что все это он, естественно, утрачивает, то ситуация предстанет в несколько ином свете. Итак, что делать герою? как реагировать на абсурд? Кинуться в невероятное приключение, переменяя судьбу так же, как лицо? Этот вариант ему даже в голову не приходит. Едва осознав, что превращение — не кажимость и не бред, и преодолев первое потрясение, Серюзье тут же перестает думать о самом чуде и концентрирует все свои мыслительные способности на том, чтоб отыскать обходные пути, позволяющие на новых основаниях войти в прежнюю жизнь.

Дабы не портить читателю удовольствие, не станем излагать перипетии сюжета. Скажем лишь, что заканчивается все, по меркам обыденности, благополучно: «красавчик» получает обратно прежнюю внешность, а с нею и прежнюю жизнь. Может быть, Бог, к которому он воззвал в кошмарном сне, сжалился и перестал испытывать несчастного, уже раскрывшего все свои возможности? Разумеется, версию «божественного вмешательства» Эме выдвигает не всерьез — это просто еще один способ показать ограниченность сознания человека, представляющего Вседержителя по своему образу и подобию. Как бы то

ни было, все возвращается на круги своя. И читатель, если ему угодно, вправе считать фантастическое допущение не больше чем художественным методом, позволяющим, к примеру, полнее и ярче раскрыть характеры персонажей. Тем паче что похожее толкование предлагает и сам автор: «Именно... в кажущихся отклонениях от правдоподобия мой реализм оказывается наиболее бдительным, так как он строго и последовательно облекается в математическую форму. В самом деле, следуя аналитическому методу, который берет заведомо абсурдное, мнимое число, чтобы извлечь из него требуемые уравнения, я исхожу из воображаемых данных, так что, заканчивая рассказ, я имею право (поскольку все время был реалистом) игнорировать нелепости, которым притворно поддавался».

...Однако вспомним, что мы говорили о вариантах реакции на чудо, а описали покамест лишь один. Второй демонстрирует родственник Серюзье, дядя Антонен: мгновенно поверив Раулю, он проявляет готовность во всем помогать, но, увы, больше мешает, ибо слишком непосредствен и бесхитроен. Разумеется, что Антонен — единственный среди персонажей романа, кто воспринимает реальные факты не регламентированно, а сообразно им самим, — наиболее близок автору. Если же ввести этого героя в контекст всего творчества Эме, то мы увидим, что старый деревенский чудака отлично вписывается в его концепцию. Крестьянин по происхождению и воспитанию, писатель любил леса и поля, где прошло детство человечества и где хранится память о «мире до грехопадения». Он был убежден, что и до сих пор деревня все-таки ближе к нормальному образу жизни и восприятию действительности; этой убежденностью проникнуты многие его романы: «Брюльбуа» (1926), «Зеленая кобылка» (1933), «Гюстален» (1937), «Вуивра» (1943)... Могут сказать, что такой взгляд на деревню неоригинален. Но надо иметь в виду, что у Эме свое понимание «нормального», при котором во главу угла ставится не традиция и не обычай, ограничивающий видение мира, а, напротив, снимающая ограничения го-

товность принять все необычное за естественную составляющую реальности. И преимущество сельского жителя перед его городским родственником вовсе не в том, что он нравственнее или совестливее. Но, занимаясь простым делом, не требующим нелепых условных формул вроде «в ответ на Ваше многоуважаемое и ссылаясь на документ за номером...», крестьянин проще и безусловнее воспринимает «реальные факты» с их «реальным смыслом» — то есть, по сути, более здравомыслящ, нежели городской обыватель, цепляющийся за свои шоры. А способность мыслить здраво и непредвзято, не отрицая нетипичное как заведомо невозможное, и является для Эме бесспорной ценностью.

Отчасти поэтому он так любит писать о детях. Дельфина и Маринетта — героини знаменитых «Сказок Кота» — воспринимают мир именно таким образом, каким, по мнению автора, его и должно воспринимать: в конкретных проявлениях. Им дела нет до отвлеченностей, придуманных взрослыми. И если надо, к примеру, решить арифметическую задачку — определить количество деревьев в общинном лесу, — то они не подумают перемножать абстрактные дубы и березы на абстрактные ары, а попросту пойдут и с помощью четвероногих и пернатых друзей быстро все пересчитают. И что бы ни говорила учительница, сестрички (пока не вырастут) останутся в убеждении: их ответ правильный. Поскольку общинный лес — именно и только общинный лес, а «лес вообще» — нечто несуществующее. Да и все «объективные законы» суть фикции, а то и хуже — серия запретов, придуманных взрослыми, чтобы управлять теми, кто подвластен и зависим, детьми и животными, например. Но чуть родители ослабляют надзор, как эти мнимости перестают действовать: поросяенок, чтоб уйти от ножа, обретает крылья, курочка, стремясь попасть в «Ноев ковчег», превращается в слона... Правда, она может, со страху перед грозными хозяевами, снова обратиться в мелкое пернатое. Но превращение останется фактом. А факты, конкретные «частные случаи» — единственное, что имеет значение, утверждает «геометр

абсурда» Эме. И будучи вот именно геометром, выстраивает из самых что ни есть нетипичных и необычных «конкретных случаев» вовсе не хаотическую, а вполне стройную картину мира *открытых возможностей*.

...А теперь поспешим оговориться: все вышеизложенное относится лишь к некоторой части произведений писателя, тогда как прочие с этой концепцией никак не корреспондируют. Мы можем найти у Эме и добротную реалистическую прозу, точно отражающую дух времени (про роман «Самый долгий путь» (1946), говорили, что его необходимо прочесть любому историку, занимающемуся военным периодом), и «популистский роман» («Безымянная улица», 1930), и едкую социальную сатиру (пьеса «Чужая голова», 1952), и тонкие пародийные стилизации под детектив, кровавую мелодраму или ренессансные фавлю. Удивляться такой разноплановости, может быть, и не стоит: наш автор, как известно, терпеть не мог зависимости — в том числе и от собственных установок. Словно насмехаясь над стараниями литературоведов, норовивших уложить его творчество в рамки, он легко уходил от исследовательских сетей, да еще утверждал, что писатель тоже имеет право развлекаться: писать как угодно и о чем угодно — лишь бы было хорошо написано. Этому условию книги Эме отвечают вполне. А концепция...

Концепция — всегда ограничение. Конечно, мы могли бы заявить, что уловили и описали генеральный принцип; что в предложенной схеме заключена самая суть, тогда как все из нее выпадающее случайно и необязательно. Однако не будем самонадеянны и скажем просто, что выделили те аспекты, которые имеют непосредственное отношение к роману «Красавчик». Это как в условиях задачи: Дельфина и Маринетта должны были определить количество берез, дубов и вязов. При этом липы, осины, тополя и прочие клены учету не подлежали; хотя, конечно, можно было для собственного удовольствия посчитать и кусты земляники, и ландыши...

Е. Злобина

I

Посетителей принимали с двух до четырех в тесном помещении в антресолях, окна которого выходили в сумрачный дворик-колодец. Я наудачу подошел к одному из окошек, среднему, и обратился к служащей. Та не ответила: подводя итог по одной ведомости, она принялась за другую. Начиная терять терпение, я повторил вопрос, не преминув заметить, что здесь отнюдь не торопятся обслужить клиентов. Конторщица, болезненного вида седеющая женщина, довела подсчеты до конца и только потом ответила без тени враждебности: — Это здесь. Документы при вас?

Я протянул ей кипу бумажек, которые она после неторопливого и тщательного изучения перетасовала в другом порядке, отдельно отложив мое прошение на гербовой бумаге. Приготовясь к долгому ожиданию, я принялся разглядывать помещение, где никогда прежде не бывал. Посетителям отводился тесный коридорчик — должно быть, обычно в конторе бывало немногочленно. Вот и сейчас, не считая меня, здесь находился только один пожилой господин с розеткой Почетного легиона — судя по всему, отставной чиновник. За перегородку свет проникал скупо: хотя было еще только половина третьего, дальние столы тонули в полумраке. Вскоре там, в глубине, зажглись первые настольные лампы — в светлых кругах под зелеными абажурами проворно двигались руки служащих. Затем еще и еще — все ближе к перегородке с окошками. Вот и в коридорчике под потолком тускло зажелтели две лампочки, отчего едва ли стало светлее. В нескольких шагах от меня отставной чиновник, опираясь на трость с серебряным

набалдашником, дружески беседовал со служащей за соседним окошком. Как я понял, его звали господин Каракалла. Ему, вероятно, нередко доводилось бывать в этой конторе, чем он явно гордился, судя по взгляду, каким он меня окинул, и по нарочито громкому смеху, которым давал понять, что уж он-то здесь свой человек. Я, признаюсь, немного позавидовал непринужденности его обращения. Конторщица, занимавшаяся моими бумагами, строчила что-то в учетной книге и была, похоже, мало расположена к разговору; впрочем, лицо ее не выражало ничего, кроме полнейшего равнодушия.

Когда мне наскучило глядеть по сторонам, я стал перебирать в голове заботы, временно оставленные за порогом: незавершенная сделка, позавчерашний скандал с женой, нелады у сына с латынью — сегодня утром на него жаловался учитель. Женские капризы, римские поэты, цены на металлы — все это в какой-то момент смешалось в моей голове и начало немыслимо медленно прокручиваться. Потом что-то во мне будто разладилось и на душе стало мутно, но почти тотчас все снова пришло в норму. Я думал уже о другом, когда услышал за окошком голос конторщицы: — Фотографии принесли?

— Конечно, — ответил я. — Две штуки, правильно?

Я вынул из бумажника пакетик с дюжиной фотографий «на документ» и протянул две из них служащей. Та не глядя положила их на регистрационную книгу, потянулась за стоящей на краю стола баночкой с клеем и, перед тем как приклеить, все-таки посмотрела на них. Странное дело: ее взгляд задержался на фотографиях, словно в них было нечто необыкновенное. Это любопытство не вязалось с ее прежним безразличием автомата, и я уже было подумал, что после того, как я выдержал некий испытательный срок, она собирается завязать со мной непринужденную беседу наподобие той, что велась у соседнего окошка. Однако, несколько раз переведя взгляд с фотографий на меня и обратно, она заметно оживилась и заявила:

— Это не ваши фотографии.

Озадаченный, я на какой-то миг засомневался, уж не вышла ли, в самом деле, какая-нибудь путаница, но тут же без труда узнал свои фотографии, хоть и видел их вверх ногами. Поэтому замечание конторщицы я принял за шутку и счел уместным ответить в том же шутовском тоне:

— Вы полагаете, фотограф слишком польстил мне?

Конторщица не улыбнулась. Она отставила клей и, поджав губы, продолжала сличать снимки с оригиналом. Наконец, словно окончательно убедившись в своей правоте, она протянула мне фотографии и сурово произнесла:

— Дайте мне другие. Я не могу принять фотографии, не соответствующие личности просителя.

Но я отказался брать карточки и категорически заявил, что шутка чересчур затянулась.

— Тем более что эти фотографии прекрасно удались. Не понимаю, почему вы беретесь судить строже, чем даже мои домашние, которые их видели и сочли вполне сносными.

С фотографиями в руке конторщица изумленно смотрела на меня. Я подумал, что эта женщина просто не в своем уме. Мое возмущение сменилось любопытством, и я представил себе своеобразное умственное расстройство, искажающее зрительное восприятие. Наконец, повернув голову, она звучным голосом позвала, обращаясь куда-то в темные глубины помещения: — Мсье Буссенак! Прошу прощения, не могли бы вы подойти сюда на минутку?

По ее почтительному тону я понял, что она призывает в судьи начальство. Такой оборот дела меня вполне устраивал, и я подготовил снисходительную улыбку. В глубине конторы, в зеленоватом полумраке между двумя световыми конусами, возникла чья-то фигура. Господин Буссенак оказался невысоким плотным человечком с живыми умными глазами на жизнерадостной физиономии. Будь у меня хоть малейшее сомнение в благополучном исходе, оно рассеялось бы при одном взгляде на него. Конторщица поднялась, уступая ему место. Усаживаясь, он спросил самым сердечным тоном — легкий южный акцент придавал его голосу оттенок шутовости: — Мадам Тарифф, что-нибудь не так?

— Посудите сами,— с несвойственной ей живостью отозвалась госпожа Тарифф.— Мсье пришел сюда с прошением о выдаче свидетельства по форме В.Р.И. Все необходимые документы он представил, но вот фотографии дал не свои.

— Таково мнение мадам, но я с ним не согласен,— вставил я намеренно небрежно и даже с вызовом.

Господин Буссенак учтивым жестом призвал меня к молчанию и принялся перелистывать мои бумаги.

— Та-ак, посмотрим; прошение... я, нижеподписавшийся Рауль Серюзье, агент по рекламе, 1900 года рождения, уроженец... так... проживающий в Париже по улице... хорошо... Копия свидетельства о рождении... Свидетельство о браке... Свидетельство о благонадежности... Аттестация по всей форме... Все в наличии... Теперь перейдем к фотографиям. Где они?

Госпожа Тарифф положила их перед ним. Окинув меня быстрым взором, он перевел взгляд на фотокарточки, и я увидел на его лице улыбку. У соседнего окошка служащая и господин Каракалла прервали беседу и взирали на нас с жадным любопытством, какое пробуждается у всех бездельников при любом, даже самом незначительном, происшествии. Фотографии лишь ненадолго задержали внимание господина Буссенака.

— Тут самое обычное недоразумение,— сказал он.— Господин Серюзье просто-напросто перепутал. И он легко согласится с этим, взглянув на фотографии.

Итак, господин Буссенак присоединился к мнению госпожи Тарифф. Мне вдруг и самому захотелось, вопреки очевидности, поверить в то, что я ошибаюсь. Не то чтобы я сомневался, мои ли это фотографии, но я видел их вверх ногами. Может, они и правда не слишком удачны. Господин Буссенак протянул мне снимки с любезной улыбкой. С первого же взгляда я убедился, что все в порядке.

— Эти фотографии действительно мои,— заявил я,— и более того: вряд ли у меня найдутся более удачные.

Став очень серьезным, господин Буссенак заговорил со

мною примирительным тоном. Шутливые нотки исчезли.

— Мсье, поверьте, если бы речь шла всего лишь о сомнительном сходстве, мы не стали бы придираться. По возможности мы стараемся облегчить нашим клиентам выполнение неизбежных формальностей. Но эти фотографии при всей нашей доброй воле мы никоим образом не можем принять. Это означало бы подвергнуть вас же самого неприятностям в дальнейшем. Мало сказать, что они на вас не похожи: совершенно очевидно, что на них изображен человек с совсем другим лицом. Это все равно как если бы я попытался выдать себя, к примеру, за госпожу Тарифф.

Я представления не имел, как вести себя в столь нелепой ситуации: как ни поступи, все равно получится глупо. Возмущение переходило в тревогу, глухо нараставшую в глубине моего существа. Словно из недр плоти пробивалось предупреждение, значение которого я осознал, только когда оно сложилось в отчетливую мысль: «А что, если он прав? Что, если фотографии уже не похожи на меня»? Идея эта, которая должна была бы показаться абсурдной, потрясла меня настолько, что я начал заикаться.

— Это п-придирка,— сказал я.— В-вы решили ко мне придраться.

И поднял на господина Буссенака глаза, в которых, наверное, читалось такое отчаяние, что тот смягчился.

— Ну, будет вам,— вполголоса проговорил он,— не упрямитесь. Признайте, что вы ошиблись, в этом нет ничего зазорного.

— Клянусь, что это мои фотографии,— с жаром возразил я.— Не понимаю, в чем дело. Должно быть, вы плохо разглядели. Да-да, просто плохо разглядели.

— Успокойтесь,— сказал мне тогда этот милейший человек,— я не сомневаюсь в вашей искренности. Бывает иногда, что от усталости или нервного перенапряжения упорно принимаешь ошибку за истину против всякой очевидности. Каждый так или иначе может стать жертвой подобной иллюзии, и ничего страшного тут нет. Подождите немного, и истина укоренится, обрстет фактами. Если

вы полагаете, что мнения двоих — моего и госпожи Тарифф — недостаточно, то, может быть, я приглашу кого-нибудь еще? — Сделайте одолжение, — пробормотал я.

Он подозвал двух конторщиц от соседних окошек. Старик с тростью одновременно со своей собеседницей за перегородкой тоже двинулся ко мне. Он подошел вплотную, не постеснявшись даже легонько меня толкнуть. Обе служащие склонились с двух сторон над плечами господина Буссенака, и тот в двух словах изложил им суть дела. Я почувствовал их взгляды на себе и почти тотчас же услышал высказанные хором суждения. Ни одна, ни другая не признали меня на показанных им фотографиях. Ничего общего, утверждали они в один голос.

— Вот видите, — мягко сказал мне господин Буссенак.

Я лишился дара речи. Смутно помню, что я усиленно тер ладонью лоб, как бывает в кино и в романах, когда герою кажется, что он грезит, и он отказывается верить в реальность происходящего. Внезапно над самым моим ухом раздался трубный глас. То заговорил господин Каракалла, старик с тростью, — он только что рассмотрел фотографию, оставленную в окошке:

— Да вы просто дурачите народ, милый мой! У вас хватает нахальства утверждать, будто это ваше фото? Скажите спасибо, что вы имеете дело с людьми терпеливыми. Я бы на их месте не стал с вами церемониться. Сдается мне, вы бездельник и аферист, молодой человек!

Я сделал инстинктивное движение — то ли угрожающее, то ли оборонительное, — и это заставило старикана отступить к своему окошку, откуда он уставился на меня, свирепо бормоча себе что-то под нос. Да и впрямь было на что посмотреть. Плохо соображая, что делаю, я шагнул в его сторону и оказался между двумя окошечками, перед стеклянной перегородкой, отделявшей коридорчик для посетителей от помещения для служащих. Мелькнувший в ней отблеск навел меня на мысль посмотретья в стекло, как в зеркало. Однако свет падал так, что стекло было совершенно прозрачно и почти ничего не отражало. Нимало

не заботясь о том, какое это производит впечатление, я задергался во все стороны, пригибаясь и выпрямляясь, отходя и приближаясь, чтобы выбрать наилучший угол зрения. В конце концов мне удалось различить смутные очертания головы и отдельных частей лица. В этих разрозненных фрагментах я не узнал ничего своего. Вдруг одна из конторщиц за перегородкой переместилась и, заслонив одну из дальних ламп, чуть изменила освещение, так что передо мной возникло отражение моих глаз. Возникло лишь на миг, но я увидел вполне отчетливо: пара больших светлых глаз с мягким, мечтательным выражением — ничего общего с моими маленькими, глубоко посаженными темными глазками.

Отражение исчезло, а я оставался недвижим: так и застыл, пригнувшись и уперев руки в колени. Разум мой помутился, и разобраться в своих мыслях я не пытался — это лишь усилило бы мое смятение. Выпрямившись, я обнаружил, что господин Буссенак и трое его служащих смотрят на меня удрученно и сочувственно, а господин Каракалла усмехается, покачивая головой. Я вернулся к окошку и попросил возвратить мне документы.

— Как вам будет угодно, но мне кажется, что спешить в данном случае некуда, — ответил господин Буссенак с кольнувшей меня вкрадчивой заботливостью. — Вы вполне можете оставить свои документы у нас и прийти в другой день или даже подождать тут немного, пока мы позвоним к вам домой или на службу и попросим доставить новые фотографии. Если не возражаете, то, пожалуйста, пройдите и посидите здесь.

Он явно принимал меня за помешанного и пытался выиграть время, чтобы известить моих домашних и, быть может, полицию. Страх мобилизовал мои силы, и я сумел придать лицу более спокойное выражение и ответить почти безмятежным тоном: — Вы очень любезны, но у меня назначена встреча, которая не терпит отлагательства. Прошу меня извинить, — добавил я, улыбаясь, — мое поведение могло показаться вам странным, но я только теперь

начинаю понимать, что произошло. Кто-то из моих родственников подшутил надо мной и ухитрился подменить сегодня фотографии. Признаться, успех этого неумного розыгрыша превзошел все ожидания.

Если поразмыслить, объяснение звучало весьма неубедительно, но мой тон, похоже, несколько успокоил господина Буссенака. Он вернул мне бумаги, и мы с ним обменялись еще двумя-тремя любезными фразами. Направляясь к выходу, я почувствовал, как кто-то взял меня под руку, и мне стоило большого труда скрыть свой испуг. Оказалось, то был всего лишь господин Каракалла. Он загородил мне дорогу и, разглядывая меня с оскорбительным сочувствием, предложил тоном сиделки, увещающей больного:

— Ничего страшного. Вы будете умницей и позволите мне проводить вас домой. Будете умницей, верно ведь?

Я увидел в его глазах ненависть и немало тому удивился, поскольку в моем поведении не было ничего такого, что могло бы вызвать подобное чувство. Примерно такую же злобную зависть мне приходилось видеть во взгляде, каким иные старики награждают молодежь. Но я-то не так уж молод.

— Весьма обязан,— ответил я,— но я живу в пригороде. Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня вы вернулись поздно и получили нагоняй от своей экономки.

Этот ответ вызвал сдержанные смешки у господина Буссенака и его служащих, а господина Каракаллу привел в ярость. Его черты исказила гримаса, и, уже у двери, я услышал его шипение: — Вы мне за это заплатите.

II

Выйдя из конторы господина Буссенака, я пешком направился к улице Четвертого Сентября. По дороге я должен был зайти к одному клиенту — он ждал меня в три часа,

чтобы обсудить условия контракта на рекламу. Я прикидывал, как бы половчей обстряпать это дело. Казалось, жизнь возобновила нормальное течение. Правда, инцидент с фотографиями еще не забылся, но я полностью пришел в себя. Осталось разве что легкое, как бы подсознательное беспокойство. Воспоминание о моем злосчастии разбивалось об естественную уверенность в том, что такое попросту невозможно. Таким образом я укрывался в надежных стенах реальности и даже не испытывал особого искушения проверить, так ли уж она незыблема, хотя понимал, что нет ничего проще: достаточно остановиться перед витриной любого магазина и посмотретья в нее. Но я избегал поворачивать голову к витринам и даже старался держаться по возможности ближе к краю тротуара. Время от времени в моей памяти возникали большие светлые глаза, отразившиеся в стекле перегородки. От этого сердце мое всякий раз тревожно замирало, но я тотчас относил это видение к разряду галлюцинаций и беспечно говорил себе, что не мешало бы как-нибудь показаться врачу. Иногда я даже думал о пережитом страхе с добродушной иронией. И уже представлял себе, как рассказываю обо всем жене или другу: «Со мной произошел один странный случай, который я до сих пор не могу объяснить». В этой фразе было нечто очень забавное, и я с удовольствием повторял снова и снова. Конечно же, я не раз слышал ее из чужих уст. Кто угодно, думал я, может, как следует порывшись в памяти, припомнить «один странный случай, который он до сих пор не может объяснить». Что может быть банальной? Когда переживаешь нечто подобное, оно волнует и даже пугает, но стоит облечь эти страхи в слова, как они бесследно исчезают. Ведь на самом деле ничего и не было.

Конец сентября выдался теплым и ясным, словно до осени было еще далеко. Я с наслаждением вдыхал воздух — казалось, в нем еще сохранился привкус летних отпускных деньков. Случай с фотографиями постепенно стал представляться эпизодом из какой-то другой жизни. В самом низу Паромной улицы дорогу мне преградила толпа —

она обступила стоявшее у края тротуара такси. Между водителем и пассажиром разгорелся спор по поводу оплаты.

— Вас что, обучали в приюте для слепых? — горячился водитель, указывая на счетчик.— Разве вы не видите, что наступало четырнадцать франков?

Пассажир, крохотный старичок с бачками, в бежевом котелке, пищал в ответ девичьим голоском:

— Напрасно кипятитесь, извозчик. Я все равно больше доверяю своему опыту старого парижанина, чем вашей механике. Вот вам десять франков, этого более чем довольно.

Обстановка накалилась: водитель не на шутку оскорбился тем, что его обозвали извозчиком. И тут я заметил, что стоявшая напротив меня молодая, элегантно одетая женщина с прехорошеньким личиком смотрит на меня едва ли не с нежностью и не как-нибудь тайком, а настойчиво или, скорее, зачарованно. Должен сказать, что женщины отнюдь не балуют меня вниманием и, поскольку природа наделила меня малопривлекательной внешностью, мне нужно время, чтобы пробудить к себе интерес. Впрочем, я люблю свою жену и так серьезно отношусь к своему отцовскому и супружескому долгу, что почти никогда не поддавался соблазну завести роман на стороне. Так что случайная встреча не грозит сбить меня с толку. Я даже способен гордиться победами, одержанными над собою в самых пикантных ситуациях. Это вовсе не означает, что женские чары оставляют меня равнодушными — напротив, нередко мне приходится сожалеть о том, что я сознательно лишил себя удовольствия, и никогда я не чувствую себя таким слабым, таким уязвимым, как одержав очередную победу над своей слабостью. Как раз такое смятение испытывал я сейчас, потеряв из виду прелестную незнакомку и шагая по направлению к набережной. Влекущий взгляд, каким она меня наградила, взволновал меня, и я сокрушался, представляя себе все то, что могло между нами произойти и не произошло. Инцидент с фотографиями был забыт. Мучимый сожалением, я неспешно прошел по мосту через Сену, созерцая реку и ее одетые в цвета осени берега.

Собираясь пересечь набережную, я остановился перед длинной вереницей автомашин. Автобус рядом со мной тоже ждал возможности проехать, и я заметил, что на меня глядят через стекло две сидящие одна за другой очаровательные пассажирки — одна томно, другая зазывно. Мне бы удивиться этому, но я, утопая в блаженстве, подумал только, что вот ведь бывают женщины, способные оценить меня с первого взгляда. Скромно отведя глаза, я увидел около себя своего приятеля Жюльена Готье, тоже стоявшего на тротуаре. Когда нам было примерно по двадцать пять, мы вместе томились в учениках нотариуса. Потом наши дороги разошлись, и встречались мы не часто, но всегда с удовольствием. Глядя на проносящиеся автомобили, Готье, должно быть, размышлял о том, какую ему теперь избрать профессию, потому что с тех пор, как он годом раньше меня отказался от карьеры нотариуса, он только и делал, что менял занятия: перебивал футболистом, продавцом книг, портным, директором ночного кабаре, а теперь подвизался в качестве импресарио. Хлопком по плечу я вывел его из задумчивости и радостно воскликнул: — Привет, старина!

Готье повернулся ко мне, и появившееся было выражение радушия на его лице тотчас улетучилось. Недоуменно оглядев меня, он изобразил вежливую улыбку и холодно произнес: — Вы, верно, ошиблись.

Жюльен Готье — человек серьезный, менее всего на свете склонный к розыгрышу. Было совершенно очевидно, что он меня не узнал. И тотчас страх вновь захлестнул меня, как тогда, в конторе господина Буссенака. Все мои наспех возведенные укрепления смыло этим потоком. Не осталось ни малейшего сомнения, за которое я мог бы уцепиться. Я задрожал, и лицо мое, должно быть, страшно исказилось, потому что Жюльен принялся что-то мягко мне втолковывать. Я пристально смотрел на него, не слыша его слов; он не узнавал меня, и для меня это было равносильно крушению мироздания. Приняв мой испуг за проявление безумия, он взял меня за плечо — вроде бы и дружески, но вместе с тем довольно крепко, отчего я насторожился:

похоже, он собрался отвести меня к постовому или в комиссариат. Резким движением я высвободился и тихим, охрипшим от ужаса голосом сказал:

— Нет, Жюльен. Пусти меня. Прошу тебя, Жюльен.

И, оставив огорошенного Жюльена, нырнул в поток машин, не обращая внимания на ругань водителей и свистки регулировщика. Я пробежал через весь сад Тюильри и остановился лишь под арками улицы Пирамид, перед лавчонкой с безделушками из слоновой кости. Прежде чем посмотретьсь в одно из обрамлявших витрину зеркал, я попытался успокоиться если не внутренне, то хотя бы внешне: я чувствовал, что лицо у меня перекошено от страха. Совладать с собой мне помогло еще и любопытство.

Увидев наконец себя в зеркале, я невольно огляделся, ища, кому бы могло принадлежать это незнакомое лицо. Но вокруг никого не было; тогда я открыл рот, наморщил нос, нахмурил брови, и то же самое проделало отражение в зеркале. Заметив, что на пороге лавчонки хозяйка и молоденькая продавщица потешаются над моими ужимками, я обратился в позорное бегство, но уже через несколько шагов, беспокоясь о том, что они могли обо мне подумать, едва удержался, чтобы не вернуться и дать им какое-нибудь правдоподобное объяснение. Вот когда я понял, что должны испытывать те сумасшедшие, которые смутно осознают исключительность своего состояния и стремятся во что бы то ни стало выглядеть нормальными людьми. Страх и стыд.

Убегая от этих двух свидетельниц моего странного поведения, я свернул на улицу Сент-Оноре. Я вдруг как-то сразу понял, что отныне все мои усилия будут направлены на то, чтобы создавать видимость нормальной жизни. До самой смерти я приговорен нести бремя невыносимой правды, молча страдать, сознавая себя парией, существом, в котором непостижимым образом нарушились самые простые, самые незыблемые законы природы. Природа избрала меня свидетелем и объектом чудовищной аномалии, и я тотчас включился в игру — надо же как-то жить дальше. Более того, инстинкт самосохранения требовал, чтобы я как

можно быстрее довел это абсурдное превращение до конца — его неполнота явно была для меня губительной. Ни в коем случае нельзя жить сразу в двух ипостасях, совмещать мое прежнее и теперешнее «я»: их разительное несходство легко может привести меня в сумасшедший дом. Мой ничуть не изменившийся голос, привычки, почерк, мои знакомства, реакции, любимые словечки — все это теперь опасные ловушки. Нужно переделывать себя, подстраиваться под свой новый облик.

Этим размышлениям я предавался, сидя за столиком в углу небольшого кафе близ церкви Сен-Рок. Официант принес заказ и удалился, так что я мог сколько угодно изучать себя в зеркале. В новом моем лице ни одна черта не напоминала прежнюю. Для наглядности я достал одну из своих злосчастных фотографий. Ничего не скажешь, я много выиграл по части молодости и привлекательности. Из зеркала на меня смотрело лицо человека лет самое большее тридцати, тонкое, породистое, лицо баловня судьбы, никогда не знавшего нужды, — такие физиономии обычно производят неотразимое впечатление на женщин. Светлые серо-голубые глаза глядели с подкупающей кротостью, а волосы, некогда черные, а теперь каштановые, стали, как мне показалось, гуще и мягче. От моего настоящего лица не осталось ничего, даже выражения, что удивило меня больше всего. Ведь выражение лица человека — это, в сущности, ответ его душевного состояния, видимая грань внутреннего мира.

Стоя коленями на скамье и держа в руке фотографию, я долго сличал ее со своим отражением в зеркале, протирая его время от времени, когда оно запотевало от моего дыхания. В неожиданно свалившемся на меня несчастье я все же находил и утешительную сторону: ведь вместо того, чтобы сделаться красавчиком, я мог бы стать уродом, а то и вообще получить ослиную голову, как в «Сне в летнюю ночь»*. В конце концов я начал думать о своем прежнем лице с этой сострадательной симпатией. Широкая и плоская, как

* «Сон в летнюю ночь» (ок. 1595 г.) — феерическая комедия В. Шекспира. (Здесь и далее — прим. перев.).

блин, недовольная физиономия, которую я разглядывал на фотографии, бульдожья челюсть, приплюснутый нос, морщины, глубоко посаженные черные глазки-буравчики, недоверчивый взгляд — никогда раньше я не судил о своей внешности так отстраненно. Я смотрел на фотографию — уже *не свою* — примерно как на портрет отсутствующего друга, с которым расстался много лет назад: мой характер, мой образ жизни вдруг предстали передо мной со всей очевидностью, и оказалось, что гордиться особенно нечем. Наконец-то мне довелось в истинном свете увидеть свою извечную щепетильность, зачастую делавшую меня мелочным и несправедливым, боязнь попасть впросак, обращающуюся в некую агрессивную самонадеянность, тщеславное стремление лишний раз продемонстрировать окружающим свою власть, чрезмерное поклонение деньгам и успеху, слепую веру в то, что неравенство жизненных условий есть двигатель прогресса, — но также и непоколебимое чувство долга, безукоризненную честность — самое, на мой взгляд, надежное помещение капитала, — верность в дружбе, отнюдь не показную щедрость, правда, сдерживаемую осторожностью.

Все эти запечатленные на моем прежнем лице недостатки и достоинства я еще ощущал в себе, но уже измененными, потерявшими слитность, которая делала их единым целым, неповторимым в своей индивидуальности. Словно они внезапно лишились некоего центрального стержня. Мне кажется, что лицо не только отражает, подобно зеркалу, наши мысли и чувства, но и само воздействует на них, налагая свой отпечаток. Кто не знает, насколько, например, характер женщины зависит от того, как она оценивает свою внешность. Наше представление о себе почти постоянно влияет на наши поступки. Лично я, оказываясь перед серьезным выбором, принимаю решение только после того, как удостоверюсь, что это решение мне «к лицу», — приблизительно так, как если бы я примерял шляпу. Лицо — мой высший судия. Во всяком случае, так было раньше.

Я сосредоточился на этой проблеме взаимосвязи формы и содержания, как будто в данную минуту для меня не было

ничего важнее. Но это было уловкой, стремлением оттянуть время, чтобы освоиться со своим несчастьем постепенно, самые болезненные точки оставляя на потом. Особенно старательно избегал я мысли о жене и детях. Уж лучше было бы раствориться в суеверном ужасе перед непостижимым, но все отодвинул страх вполне земной — перед ближайшим будущим, при мысли о котором у меня сжималось сердце. Наконец я сел, чтобы не видеть больше своего лица, и попытался держаться так, словно со мной ничего не случилось, но помимо воли в моей голове настойчиво складывался вопрос: через несколько часов настанет время, когда я обычно возвращаюсь домой, целую жену, дочку, сына, — что я буду делать сегодня? Объяснять жене, что у меня изменилось лицо? Исключено. В здравом уме она ни за что не поверит подобной небылице. И хотя вероятность того, что она все-таки поверит, была как-никак выше, чем вероятность самой моей метаморфозы, рассчитывать на это все равно не приходилось. В глубине души я был убежден в том, что вторжение абсурдного носит случайный характер. Придав реальности дополнительный импульс, оно скромно уберется восвосяси. Это убеждение, вопреки всему, диктовал мне разум, вынужденный тем не менее смириться с непостижимым феноменом.

Я вышел на улицу в четверть четвертого, так и не решив, что делать дальше. Встреча была назначена на три часа, и я, пусть с опозданием, еще успевал на нее, но как же теперь явиться к клиенту, который меня уже знает? Машинально я направился к улице Четвертого Сентября, где располагалось мое агентство. По пути я сообразил, что метаморфоза лишила меня предприятия, которое я основал и которое давало мне средства к существованию. Оно держалось только на мне — точнее, на доверии, коим я пользовался у определенных людей и в определенных кругах. В деятельности агента по рекламе многое решает случай, и этот-то случай в один прекрасный день свел меня с импортерами металлов. В результате мне удалось сделать мое рекламное агентство еще и посредническим предприятием по торговле оловом и свин-

цом. Коммерческая деятельность постепенно начала преобладать, и я, гордый своим детищем и окрыленный первыми скромными успехами, с полным основанием надеялся на то, что дела мои в самом ближайшем будущем пойдут в гору. И вот все внезапно рухнуло.

До здания, где размещалось мое агентство, было уже рукой подать, но что мне отныне там делать? Моя секретарша встретит меня как постороннего. Я прошел мимо подъезда, только взглянув на него, и пошел дальше, к Бирже. Итак, мое новое лицо наглухо отгородило меня от моей прежней жизни. Об этом я догадывался и раньше, но сейчас, когда я воочию убедился в недостижимости собственного кабинета, то пришел в ярость от того, как жестоко обошлась со мною судьба. И взбунтовался. Легко сказать — отречься от всего и позволить замуровать себя заживо. Нет тюрьмы, из которой нельзя убежать, и я был готов поставить на карту все.

Гнев, похоже, сделал меня более изобретательным. Разумеется, положение мое оставалось прежним, но начали вырисовываться некоторые возможности хоть немного продержаться Раулем Серюзье, не дать окружающим заподозрить неладное. Я повернул назад, решив во что бы то ни стало проникнуть в свой кабинет.

III

В старом гидравлическом лифте, медленно поднимающем меня на четвертый этаж, я успеваю обдумать детали разработанного на ходу плана. На лестничной площадке на миг останавливаюсь и с замиранием сердца вслушиваюсь. Ни звука. Мое агентство размещается в двухкомнатной квартире. Прихожая переоборудована в приемную. Большая комната, обставленная лучше других, служит мне собственно кабинетом. К ней примыкает небольшой чулан. В другой

комнате сидят секретарша и машинистка, госпожа Бюст,— ее стол стоит у окошечка, выходящего в приемную как раз напротив входной двери. Нет никакой возможности войти не замеченным госпожой Бюст, но я все же надеюсь обмануть ее бдительность. Только бы не столкнуться в приемной с посетителем, который меня знает, или с теми же секретаршей или машинисткой — через приемную они ходят в туалет. В таком случае мне придется, справившись, может ли меня принять господин Серюзье, уйти восвояси.

Открывая дверь, я вытаскиваю из кармана платок, да так неловко, что на пол сыплется мелочь. И вот, не успев даже взглянуть на госпожу Бюст, я уже ползаю на коленках, подбирая укатившиеся монеты, и энергично чертыхаюсь. Благодаря этой уловке взору машинистки я предстаю лишь на четвереньках, но она узнает меня по голосу, фигуре и одежде: я слышу ее сочувственные возгласы. В приемной никого нет, и мне удастся пересечь ее и добраться до двери в кабинет, все время держась спиной к окошку. Первый успех воодушевляет, но я несколько обеспокоен тем, что кудахтанью госпожи Бюст не вторит голос секретарши. Как бы Люсьена не оказалась в кабинете, где в мое отсутствие ей частенько приходится заниматься делами.

И сегодня, уходя, я как раз попросил ее подготовить к моему возвращению одно досье, а почти все нужные бумаги лежат у меня в ящиках стола. На всякий случай я надвигаю на лоб шляпу, но это мало что дает: у нее узкие поля. Для пушей надежности прячу лицо в развернутый платок и вхожу в кабинет, делая вид, что сморкаюсь. Теперь я так замаскирован, что сам ничего не вижу, поэтому вполголоса спрашиваю: «Что нового?» Ответа нет. Значит, в кабинете никого. Я тотчас направляюсь к шкафу, где хранятся папки с неоконченными делами, и приоткрываю его створки, чтобы при необходимости быстро укрыться между ними. А пока сажусь за стол и принимаюсь выписывать чек. С минуты на минуту может постучаться Люсьена. Я тороплюсь, стараюсь не делать ни одного лишнего движения. Проверять, какая сумма лежит на моем банковском счету, некогда, но я знаю,

что тысяч около пятидесяти там есть. Выписываю чек на сорок тысяч на имя Люсьены — ее в банке хорошо знают, и кассир выплатит ей деньги без лишних проволочек. Не успеваю дописать фамилию получателя, как в дверь стучат. Отозвавшись лишь на второй стук, я оставляю выписанный чек на столе и отпрыгиваю к шкафу. Сейчас, когда я загородился створками, меня видно только со спины, и все-таки это не слишком надежная защита от Люсьены. Мы работаем вместе уже больше пяти лет и в конце прошлого года стали любовниками. Связь наша длилась, впрочем, всего две недели — мне была нестерпима мысль, что я обманываю жену. От страха перед разоблачением и непрерывных угрызений совести те две недели я прожил словно в дурном сне. Люсьена без труда догадалась о причинах нашего разрыва, которого, по ее словам, ждала с первого же дня. Не скажу, чтобы мне теперь было стыдно за свой поступок. Мою растревоженную совесть успокоила сама же Люсьена. Эта высокая и ладная двадцатипятилетняя девушка без лишних эмоций примирилась со столь скорым завершением первого в ее жизни любовного приключения. Правда, у нее до сих пор бывают странные рецидивы, повергающие меня в полнейшее смятение. К примеру, сидим мы с ней за столом друг против друга, работаем, и вдруг она спокойно откладывает ручку и бумагу, стискивает мне голову своими большими теплыми ладонями и впивается в меня страстным взглядом. И проделывает все это молча, только лицо ее пылает, как у охваченного желанием мужчины. Я растерян, я задыхаюсь от волнения — жду ее приказаний. Больше того, я жажду их услышать. Ей это прекрасно известно, но стоит мне отважиться на какой-нибудь жест, как она со снисходительной улыбкой оставляет меня и возвращается к прерванной работе. Я испытываю острое разочарование, но оно понемногу утихает, а потом, когда прихожу домой, и вовсе сменяется удовлетворением — я остался верен жене.

Входит Люсьена, и я тотчас начинаю давать ей указания, следя, чтобы голос не выдал меня, — я побаиваюсь ее пронизательности. Я должен, не сбиваясь с обычного, серьезного

и уверенного, тона, придать голосу сдержанное оживление.

— Люсьена, я срочно выезжаю в Бухарест. Я встретился с Мейерхольдом-младшим из Би-би-эс, и он свел меня с Брауном из «Метал юнион». Мы с Брауном обсудили возможности, открывающиеся сейчас на балканском рынке. Не исключено, что нам придется работать вместе.

Надо как-то оправдать двух-трехнедельное пребывание за границей, и я сочиняю дальше.

— Из Бухареста я, вероятно, поеду в Югославию. А сейчас сходите получите деньги по чеку — он на столе, выписан на ваше имя. Банк скоро закроется.

Согнувшись в три погибели, я роюсь в бумагах в самом низу шкафа. Люсьена подходит ко мне — я слышу ее приглушенные ковром шаги. Неужели она, расчувствовавшись при мысли о том, что я уезжаю, решит снова проверить свою власть надо мной и уж на этот раз отдаст долгожданное приказание? Испуг борется во мне с искушением.

— Вы что-нибудь ищите? — спрашивает она. — Думаю, с моей помощью вы управились бы скорее.

— Благодарю вас. Я ищу записи, которые сделал месяц назад по поводу закупок Пуле-Бишона в Бухаресте. Как будто еще тогда предвидел нынешнее дело. Но я найду, не беспокойтесь. Поторопитесь.

— Иду. Хотя время еще есть. Сейчас только без двадцати. Она подходит ближе: я слышу ее дыхание.

— Прошу вас, — говорю я, — не заставляйте меня нервничать. Банк вот-вот закроется.

— Иду.

Хлопает дверь. В моем распоряжении не меньше десяти минут. Сажусь за стол и с облегчением снимаю наконец шляпу — я весь взмок. Провожу ладонью по лицу и вдруг замираю, удивленно ощупывая изменившийся нос. Не то чтобы я забыл о превращении, но чувство того, насколько оно невероятно, словно бы притупилось, как будто это ошеломляющее событие успело встать в один ряд с привычными, повседневными. Осозная же теперь совершенно чужой нос, я осознаю всю дикость своего положения — впрочем, весьма

ненадолго. Хватит с меня тех проблем, которые надо разрешить сию же минуту, пока что я и с этим не справился, и я с досадой гоню прочь некстати нахлынувшее воспоминание. Предаваться в эту опасную минуту размышлениям об абсурдности того, что произошло, значило бы заниматься бесплодной метафизикой. Для меня сейчас важно одно: самая насущная и конкретная реальность.

Мне не раз приходилось уезжать вот так неожиданно. Неделю три тому назад я, не заходя домой, вылетел в Лондон. Поэтому в моем спешном отъезде в Бухарест нет ничего, что могло бы показаться моей секретарше подозрительным. Все пройдет как нельзя лучше, если только я сумею скрыть от нее свое лицо. Через несколько минут она вернется из банка. Как мне ее встретить? Ведь с ней нужно поговорить, оставить инструкции, дать кое-какие советы. Не могу же я, в самом деле, опять залезть в шкаф. К тому же рано или поздно придется прощаться. Все это невозможно проделать, стоя к ней спиной. Я и раньше подумывал о чулане, куда вела дверь в глубине кабинета. Это глухой закуток, метра полтора на два. Там темно, но только если не включать лампочку, а это покажется по меньшей мере странным. Вдобавок я не представляю, как объяснить Люсьене, для чего я забрался в чулан, куда уборщица складывает свои веники, тряпки и прочее и где свалены кипы старых газет и папки с давным-давно законченными делами. Я стискиваю руками голову, надеясь выдавить из нее хоть какую-нибудь идею, но все напрасно, и меня охватывает паника. Еле удерживаюсь от искушения схватить шляпу и удрать.

Вот хлопает дверь на лестничную площадку. Люсьена уже в приемной. Я устремляюсь в чулан и с бьющимся сердцем застываю в темноте, не осмеливаясь закрыть за собой дверь. Стучат. «Войдите». Ну все, пропал.

— Вот,— говорит Люсьена.— Тридцать девять тысячных банкнот и десять сотенных.

Наверное, думает, что я по-прежнему роюсь в открытом шкафу. Даю о себе знать: кашляю и роняю метлу.

— О-о, так вы в чулане? А почему не включили свет?

Сквозь приоткрытую дверь я вижу, как Люсьена огибает стол и направляется ко мне. Я мучительно стараюсь что-либо придумать. Тщетно. Моя песенка спета. И эта мысль снимает какое-то внутреннее напряжение, сковывавшее мой разум.

— Выплатили без всяких придинок? Отлично. А я ждал звонка из банка. Скажите, ну не свинство ли: всякий раз, заходя в этот закуток, я обнаруживаю, что лампочка перегорела. Впрочем, сейчас свет мне и не нужен. Знаете, чем я тут занимаюсь?

— Нет. Интересно, чем же?

— Меняю белье, потому что у меня, боюсь, не хватит времени заскочить домой. Вот видите, как хорошо, что на работе у меня всегда припасена на всякий случай смена белья. Чтобы не терять времени, я прямо сейчас дам вам последние инструкции. Здесь темно, так что дверь можно оставить приоткрытой.

Я собирался добавить: «не нарушая приличий», но вовремя спохватился: и так чересчур многословен. Так бывает: боясь привлечь внимание, торопишься объяснить и обговорить все до последней мелочи. Между тем следовало бы помнить, что обычные действия чаще не нуждаются в объяснениях. Они совершаются естественно: просто ты полагаешься на здравый смысл окружающих. А мне и в голову не приходит воспользоваться доверием к себе людей. Какая-то собачья добросовестность, граничащая с раблепием, заставляет меня выдавать себя на каждом шагу, открывать все карты, хотя никто меня об этом не просит. Мой кузен Эктор, человек весьма образованный и имеющий знакомства в интеллектуальных кругах, твердит, что у меня комплекс неполноценности. Если это так, то теперь я должен страдать от него больше чем когда-либо, терзаясь мыслью, что живу за гранью разумного. Тем временем Люсьена приблизилась к чулану и прислонилась к стене у самых дверей, так что мне видна часть ее спины. Она захватила со стола карандаш и блокнот, чтобы не упустить ничего важного. Я перечисляю главные из текущих дел и особо останавливаюсь на сегодняшней несостоявшейся встрече. Говорить о работе для меня

одно удовольствие: здесь не надо хитрить и кривить душой. И я вкладываю в этот разговор куда больше пыла, чем обычно. Должно быть, подобное возбуждение испытывает старый чиновник накануне выхода на пенсию. Никогда мой мозг не работал так быстро и четко. Я нахожу сразу два приемлемых решения проблемы, над которой мы с Люсьеной безуспешно бились недели две. Она в восторге: какая ясность мысли, несокрушимая логика, непринужденность изложения. Все это мне не свойственно, обычно я более скован. Не погрешу против истины, если скажу, что Люсьена буквально очарована мною. И что приятнее всего, очарована вовсе не лицом. Незаметно для себя она подалась ко мне — теперь виден ее профиль, и я, сам невидимый в полумраке, могу без стеснения любоваться ею. Я достаточно близко, чтобы ощущать ее свежий запах — запах одеколona и белокожей блондинки, — который обычно наводит меня на мысль то ли об образцовой деревенской хозяйке, то ли о преподавательнице шведской гимнастики*. Надо лишь протянуть руку, чтобы ее коснуться, и я не в силах побороть искушение. Я беру ее за руку, обнимаю за талию, притягиваю к себе в потемки. Странное дело, моя супружеская совесть помалкивает, и я с легкостью прощаю себе отказ от благих намерений, решив, что перед тем, как навсегда расстаться с этой девушкой, я обязан хотя бы нежно с нею попрощаться. К тому же после происшествия, перевернувшего вверх тормашками всю мою жизнь, было бы смешно цепляться за прежние принципы. Если я не хочу потерпеть полный крах, пора забыть о щепетильности. Однако Люсьена решительно отстраняется и спокойно произносит:

— Вы опоздаете. Уже четверть пятого, а то и больше.

Я бормочу, что это, дескать, не имеет значения и в такую минуту о делах можно и забыть. Наконец, видя, что она вот-вот выскочит из чулана, я захлопываю дверь, и мы оказываемся в полной темноте.

— Будьте благоразумны, — увещевает меня Люсьена, —

* Шведская гимнастика — система гимнастических упражнений, основанная исключительно на простых и естественных движениях.

не возвращаться же каждые две недели к тому, с чем покончено раз и навсегда.

Она настойчиво пытается высвободиться. Я прижимаю ее к себе, крепко захватывая руки, Люсьена с поистине мужской силой выдергивает их и умело сопротивляется. Но тут в кабинете раздается телефонный звонок.

— Возьмите трубку,— говорю я вполголоса.— Скажите, что меня нет, и возвращайтесь.

Ничего не пообещав, Люсьена открывает дверь. Она присаживается на угол стола, рядом с пачками банкнот, и снимает трубку. Я не отвожу от нее глаз, восхищаясь ее здоровьем и свежестью.

— Вас просит госпожа Серюзье,— говорит она.

В ее тоне ни намек на иронию. Впрочем, мне уже не до этого.

— Скажите, что я сейчас подойду.

Передав мои слова, Люсьена выходит за дверь, и скромность эта отнюдь не нарочита. Больше я ее не увижу — воспользуюсь ее отсутствием и удеру, как только поговорю с Рене.

— Алло, Рауль? Я в Сен-Жермене с детьми. Звоню тебе, потому что уже половина пятого, а дядя Антонен хочет свозить нас в Понтуаз, познакомить со своими старыми друзьями. Не слишком это далеко? Как ты считаешь?

— Да, далековато. Но в любом случае за меня можешь не беспокоиться. Через сорок минут я улетаю в Бухарест.

Рене охает от неожиданности. Я объясняю ей, зачем еду.

— Ты уверен, что не ввязываешься в какую-нибудь авантюру? — спрашивает она.

Ее волнение меня умиляет. Узнаю свою здравомыслящую супругу: я всегда гордился ее благоразумием и экономностью. Милая Рене. Еще не было случая, чтобы я вложил деньги в то или иное предприятие, не посоветовавшись с нею, и благодаря этому мне неизменно сопутствовала удача. И подумать только, что всего минуту назад я тискал в темноте свою секретаршу! Краска стыда заливает мне лицо. Какой же я все-таки негодяй! Если бы я не боялся огорчить

Рене, то во всем бы ей признался. Удивительно: при одном только звуке ее голоса во мне пробуждается тяга к целомудрию. Стоит ей заговорить, как застрявшие у меня в памяти образы женских мордашек, бюстов, ножек и бедер тускнеют и съеживаются, словно на сковородке, а потом и вовсе исчезают. Милая Рене. Никогда больше не позволю себе предаваться этим недостойным забавам, при воспоминании о которых теперь, в такую минуту, я трепещу и сгораю от стыда. Именно сейчас, когда мне предстоит тебя потерять, я вдруг осознаю все величие обета верности.

Надолго ли я уезжаю, спрашивает Рене. Это смотря какой оборот примут дела. Сейчас трудно сказать что-либо определенное. Но я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. К тому же я буду часто писать ей оттуда (легко сказать!). Рене всхлипывает. Бедная моя девочка и бедный я. Поцелуй за меня детей. В горле у меня стоит комок. Простонав: «Дорогая!» — я отрываюсь от телефона. Кладу в карман сорок тысяч франков, оставленных Люсьеной на столе, и мне кажется, что я обкрадываю сам себя.

IV

Выбравшись из агентства украдкой, как вор, я решил зайти домой, рассудив, что служанка, пользуясь отсутствием хозяйки, наверняка ушла и оставила квартиру без присмотра. По дороге на улицу Коленкура, в такси, я впервые подумал, не попробовать ли мне соблазнить Рене. Я не сомневался, что эта попытка заведомо обречена на провал, но на худой конец я мог бы стать ей просто другом. Женщины нередко испытывают признательность к человеку, давшему им возможность продемонстрировать свою добродетель. А годика через два-три память о муже неизбежно начнет стираться, и Рене, быть может, задумается о том, что детям нужен отец.

Служанки действительно не оказалось дома, так что я пре-

спокойно забрал все что нужно: белье, туалетные принадлежности и костюм. Выходя на улицу, я заметил над входной дверью стандартную табличку: «Сдается квартира». Внизу мелом было приписано: «меблированная». Я отправился в кафе Маньера, самое известное на улице Коленкура, и оставил там чемодан, пальто и шляпу. Не холодно — можно ходить и в костюме, с непокрытой головой. Впрочем, эта предосторожность была излишней: консьержка почти наверняка не видела ни как я входил в дом, ни как выходил. В половине шестого я постучался в дверь ее комнатки. Она проводила меня в квартиру, которая оказалась на шестом этаже, как раз над моей собственной, и к шести часам я уже поселился в новом жилище под именем Ролана Сореля — хотелось сохранить свои инициалы. Плата составляла девятьсот франков в месяц — вполне приемлемо для квартиры из трех комнат, кухни и ванной, к тому же обставленной комфортабельно и с гораздо большим вкусом, нежели моя. Окно спальни выходило на улицу над балконом пятого этажа, по которому еще сегодня утром после завтрака я расхаживал с сигаретой в зубах, — на нем лежала теперь говорящая кукла Туанетты. А высунувшись из окна, я мог видеть край ковра нашей спальни, располагавшейся под моей нынешней. С тех пор мне не раз снился один и тот же сон: я стою на подоконнике, потом, пятясь, отступаю от стены прямо по воздуху, чтобы заглянуть внутрь квартиры на пятом этаже, но чаще всего жалюзи закрыты и ничего не видно, и я или отступаю все дальше и дальше, прочь из Парижа, к самой деревне, где родился, или же парю над улицей, дожидаясь, пока откроются жалюзи, и усталость распирает меня до того, что в конце концов, огромный, распухший, я оказываюсь заклиненным меж рядами домов и понимаю, что жить дальше не имеет смысла.

Какое-то время я тупо и бесцельно бродил по комнатам. Мебель, похоже, подобрана женщиной: квартира изобиловала удобно расположенными зеркалами, так что я получил возможность лицезреть себя анфас, в три четверти и в профиль. И нашел, что я не так уж привлекателен, как мне

показалось в кафе на улице Сент-Оноре. Черты лица действительно были безупречны и гармоничны. Однако недоставало изюминки, какого-нибудь изъяна или асимметрии — чего-то, что оживило бы эту блеклую физиономию. В любом совершенстве есть некая неподвижность, не свойственная жизни. Глядя на себя, я попробовал улыбнуться, засмеяться, и на моем лице заиграла этакая слащавая жеманность. Правда, улыбался я через силу. Вполне естественно, что вид у меня при моем нынешнем состоянии был несколько пришибленный, но вдобавок это омерзительно-томное выражение! «Нет, с такой физиономией нечего и думать понравиться Рене, — заключил я. — Если бы ей, бедняжке, и довелось когда-нибудь выказать расположение мужчине, то только не такого типа». Я пожалел о своей прежней физиономии: насуспенной, упрямой, неприветливой, но живо отражавшей все душевные движения.

Примерно без четверти семь я вышел и стал бродить неподалеку от дома, надеясь увидеть, как возвращается Рене с детьми. Улица Коленкура, описывающая кривую на склоне Монмартра, самая живописная в Париже. Она похожа на дорогу в рай: обсаженная молодыми, в любое время года трогательными деревцами, она начинается от Монмартрского кладбища и поднимается к небу. В своей самой аристократической части, то есть вблизи вершины кривой, она не пересекается ни с какой другой улицей. Метров двести по обеим сторонам без единого просвета тянутся высокие дома со сводчатыми фасадами. Иностранец, забредший в это глубокое ущелье с единственным чаянием выйти к базилике Сакре-Кёр, с содроганием думает, уж не заколдовано ли это место, и с робкой учтивостью спрашивает у встречного дорогу. Два ряда автомобилей замерли вдоль тротуаров, они изгибаются вместе с улицей и смыкаются где-то в бесконечности. Их оставляют у дверей своих домов наиболее зажиточные обитатели улицы, пока выводят своих собак помочиться на пороги самых убогих лавчонок, чтобы подольститься к бакалейщикам побогаче, да и просто ради собственного удовольствия. У жителей этого

ущелья — что весьма необычно, если не уникально для северных кварталов Парижа — нет ни кафе, ни даже забегаловки, и чтобы утолить жажду, им приходится подниматься до заведения Маньера, туда, где улица наконец размыкает свои глухие стены и вырывается на простор, сливая свои деревья с деревьями проспекта Жюно. На этом перекрестке лет уж десять жили мы с Рене и детьми.

Я не торопясь спустился до кафе Поля, солидного заведения на пересечении с улицей Ламарка, — начиная с этого места улица Коленкура меняет облик и запросто соседствует с прилегающими улочками. Этим теплым сентябрьским вечером люди, с которыми я обычно раскланивался, теперь меня не узнавали, зато сама улица и дома на ней остались мне верны. Иначе говоря, я, сам того не замечая, повторял маршрут своих обычных прогулок — проходил по тем же местам, останавливался у тех же витрин. Наконец я обнаружил, что стою и люблюсь Ивовой улицей, которая всегда представлялась мне прекрасным уголком Японии, причем иногда мне явственно виделась в конце ее гора со снежной верхушкой. Тогда я подумал, что если Ивовая улица, и витрины, и все кругом осталось для меня прежним, значит, и во мне самом мало что изменилось. Просто на некоторое время моя семейная жизнь как бы раздвоится, будет протекать на двух соседних этажах. Не пройдет двух-трех лет, как я добьюсь солидного положения, способного прельстить осмотнительную мать семейства, и под другим именем вновь стану мужем своей жены; тогда я переселюсь опять на пятый этаж, и все будет так, будто ничего не произошло.

Успокоившись и уже не так остро переживая постигшее меня несчастье, я повернул назад. День угасал. Женщины с сумочками в руках спешили домой. Среди них попадались и хорошенькие, но мужчины их не замечали: уткнувшись в газеты, они пожирали глазами кричащие заголовки. Я же еще не успел купить газету и потому обратил внимание, что некоторые из женщин поглядывали на меня с явным интересом и иногда даже оборачивались вслед. Возле углового здания, которое подобно носу корабля выда-

валось вперед у слияния проспекта Жюно с улицей Коленкура, меня обогнала молодая женщина, и раньше не раз попадавшаяся мне на глаза. У нее были темные волосы, черные глаза, высокая грудь, крутые бедра — пышность форм подчеркивало перетянутое поясом облегающее платье — и на редкость стройные ноги. Еще накануне я видел ее и, как обычно, тайком пожирал глазами. Тогда она на меня даже не взглянула. Она просто не замечала меня, и это было до того обидно, что я порой еле сдерживался, чтобы не сказать ей что-нибудь оскорбительное. Если иногда, в промежутках между этими мимолетными встречами, я вспоминал о ней, что случалось, впрочем, не часто, то мысленно называл ее Сарацинкой — наверное, из-за ее черных глаз и плавно покачивающихся бедер. Теперь же, сворачивая на улицу Коленкура, Сарацинка наконец удостоила меня взглядом, и не беглым, а пристальным и настойчивым. От этого неожиданного ответа на прежние немые призывы кровь закипела в моих жилах. На какое-то мгновение Сарацинка оказалась бок о бок со мной и так поглядела на меня украдкой, что я едва не заговорил с ней, но, вспомнив о жене, дал ей уйти вперед и шел за ней до кафе Маньера — она свернула в него, я же прошел мимо. Поостыв, я подумал о том, что из-за своей привлекательной наружности могу утратить душевный покой. Правила, которыми я ограничивал себя до сих пор, вдруг стали для меня необязательными. Бедняку легко гордиться своей стойкостью перед соблазнами, которым поддаются богачи. Он ведь и понятия не имеет, что искушение искушению рознь: неимущих оно лишь опалает, имущих же увлекает напрямик в преисподнюю. Будучи некрасивым или, скажем так, обладая заурядной наружностью, я гордился тем, что неподвластен чарам Сарацинки. Мне казалось, что все дело в моей силе воли, тогда как в действительности мне просто не на что было надеяться.

Наступил вечер, а жена все не возвращалась. Огни уличных фонарей затмили последние проблески дневного света, и прохожих становилось все меньше. Я зашел в «Мечту» — из этого маленького кафе превосходно просматривался весь пе-

рекресток — и уселся за столик у самой витрины, чтобы уж наверняка не пропустить Рене.

Вообще-то «Мечта», где собираются пропахшие потом работяги и где принято чокаться с хозяином, внушает мне некоторую брезгливость. Но, случайно познакомившись кое с кем из местной богемы, я иногда навещаю с ними в это заведение пропустить у стойки стаканчик. Удовольствие не ахти какое, зато при случае я хвастаю перед друзьями, давая им понять, что знаком с известными художниками, да и сам достиг достаточно высокого положения, чтобы позволить себе зайти в «Мечту», не опасаясь, что меня примут за коммивояжера или приодевшегося шофера. Летом, когда у нас бывали гости, Рене никогда не упускала возможности показать им с балкона крохотную террасу кафе и, смеясь, сообщить: «Вон там — клуб моего мужа. В этом роскошном заведении его нередко можно увидеть за стойкой рядом с какой-нибудь знаменитостью». Все неизменно покатывались со смеху, как будто в том, что я посещал «Мечту», было что-то нелепое и забавное. И я смеялся вместе с ними.

Удобного места за столиком не оказалось, и я подошел к стойке. Рядом со мною Жубер, скульптор с улицы Жирардона, беседовал с одним из жильцов нашего дома, неким Гарнье. Их разговор я слушал краем уха — все мое внимание было приковано к улице, где вот-вот должна была появиться Рене. Болтая, мои соседи тоже посматривали на тротуар и заметили нашу служанку в белом переднике. Она шла домой с бумажным свертком — должно быть, несла окорок или тертый сыр.

— Глянь-ка,— сказал Жубер,— вон пошла служанка Серюзье. Кстати, что подельывает этот бедняга Серюзье?

— Вовсе он не бедняга,— возразил Гарнье.— Нашел кого жалеть!

— Да я и не жалею, просто он какой-то пришибленный.

Однако в голосе скульптора явственно слышалось сострадание. На сей раз Гарнье возражать не стал, хотя и не поддержал собеседника. Этот тщедушный человечек

с очень выразительными живыми глазами — мой сосед по этажу, но видимся мы не часто: он театральный режиссер, и его обычно не бывает дома с шести вечера до двенадцати ночи. Он всегда был мне симпатичен, я считаю его честным малым. Похоже, замечание Жубера не показалось ему спорным, и это уязвило меня в самое сердце.

Наконец я увидел автомобиль дядюшки Антонена: он развернулся на площади и затормозил у нашего подъезда. Я тотчас вышел из кафе, в замешательстве от услышанного нечаянно прихватив с собой газету Жубера, которую тот положил на стойку. Теперь она мне пригодилась. Обычно появление дядиной машины причиняло нам с Рене одну досаду, но сейчас я смотрел на нее с огромным удовольствием. Укрывшись за газетой Жубера, я умиленно улыбался. У дядюшки Антонена, родного дяди моей жены, разводившего в Шату свиней, была мания собирать автомобили из разнокалиберных деталей, приобретенных у торговцев металлическим хламом. Он хвастался, что менее чем за полторы тысячи франков становится обладателем собранной своими руками автомашины, «мощной, экономичной, изящной и кое в чем даже превосходящей некоторые новые серийные модели». Дядюшка Антонен был милейшим человеком и очень нас любил, но Рене сторонилась его из-за его колымаг, которые, по ее мнению, компрометировали нас в глазах соседей. Рене всегда отличалась четким представлением о социальной иерархии и в особенности о той ее ступеньке, которую занимала наша семья. С похвальным в общем-то благоразумием она полагала, что уклад нашей жизни должен соответствовать моему заработку, и все покупки, вплоть до мяса для жаркого или резинок для моих носков, делала с оглядкой на то, что принято у людей одного с нами круга. Например, она не разрешала мне покупать автомобиль, потому что машина в четырнадцать лошадиных сил была нам не по средствам, а ездить в менее респектабельном экипаже она считала зазорным. Таким людям, как Гарнье или скульптор Жубер, подобные соображения могут показаться мелочными, смехотворными

и даже заслуживающими презрения, но я и по сей день склонен думать, что тут они не правы. Такие вот заботы и придают нашему существованию терпкий привкус, вносят остроту в нашу повседневность — благодаря этому мы, верно, и тешим себя на смертном одре уверенностью, что жизнь прожита не зря. Не подозревая о том, что его племянница может стыдиться ездить в автомобиле мощностью менее четырнадцати лошадиных сил, дядюшка Антонен звонил нам чуть ли не каждую неделю, простодушно предлагая объехать всех родственников на очередном детище его изобретательского таланта. Хочешь не хочешь, а раз в год приходилось соглашаться. Бедняжка Рене! Все драндулеты, рожденные комическим гением американского кинематографа, меркли перед творениями дядюшки Антонена. В действительности машина у него была всегда одна и та же, просто он то и дело вносил в нее усовершенствования, с гордостью заявляя, что она меняется быстрее трехмесячного кабанчика. Причина смехотворности его успехов заключалась в разительном несоответствии между грандиозностью замыслов и убожеством средств для их осуществления. Когда дядя приезжал к нам, вокруг его машины вмиг собиралась толпа, и это больно ранило Рене. Пытаясь хоть как-то спасти положение, она через консьержку пустила по дому и окрестностям слух о том, что владелец диковинного автомобиля — человек очень богатый, но, как все старые холостяки, с причудами и с артистической жилкой.

Последняя дядюшкина машина ни в чем не уступала своим предшественницам. В глаза бросалось прежде всего то, что ее задние колеса неизмеримо больше передних. А вот и сам конструктор: выразительная физиономия с длинными, чуть колышущимися на вечернем ветерке усами. Подойдя к задней дверце, он привстал на цыпочки, чтобы оказаться на уровне окошка, и громовым голосом вскричал на весь перекресток: «Не двигайтесь!» — затем неторопливо направился к передку машины. Прибытие монстра не могло остаться незамеченным, и пока в домах распахивались окна, на тротуаре собирались первые зеваки — ядро будущей тол-

пы. Я подошел к ним, предвкушая забавное зрелище: я знал по опыту, что процедуры посадки в машину и высадки из нее дядюшка всегда обставлял с большой фантазией. Убедившись, что зрителей уже достаточно, дядя оседлал капот, оказавшись лицом к ветровому стеклу, и послал пассажирам, сидящим внутри и пока невидимым публике, лучезарную улыбку, сопроводив ее подбадривающим взмахом руки. Потом принялся объяснять собравшимся:

— На капот я залез, потому что нужно дотянуться сразу до двух рукояток, а они по разные стороны от двигателя.— Почти уткнувшись носом в ветровое стекло, он приподнялся и добавил: — Правда, эти рукоятки можно повернуть и по очереди, и тогда желаемый результат достигается в два приема. Но одновременно получается эффективней.

Он снова распластался на капоте, словно слившись с машиной в любовном объятии. Тотчас же застрекотала какая-то гигантская трещотка, перекрыв тарахтенье невыключенного мотора, и внезапно верх кузова из черной водонепроницаемой ткани, натянутой на дуги, сложился вперед, словно гармошка фотографического аппарата, в то время как его задняя стенка послушно осела назад. Взорам толпы открылись мои домочадцы, добросовестно окаменевшие по дядиному приказу. Впереди расположился Люсьен, а сзади, словно на пьедестале, восседали остальные: в центре — Рене, по бокам — Туанетта и дядюшкин пес. Из-за устрашающего диаметра колес задняя половина кузова возвышалась над передней настолько, что Рене было бы нелегко и даже рискованно спуститься оттуда без посторонней помощи. По рядам зрителей прокатился ропот веселого оживления, к которому невольно присоединился и я. Поглощенный возней дядюшки Антонена с его механикой, я даже не испытал особого волнения от встречи с родными. К тому же я, как, наверное, всякий мужчина, улизувавший на несколько дней от бдительного ока супруги, был настроен весьма игриво. Тем не менее я понимал страдания Рене и сочувствовал им. Бедняжка, лишенная возможности слезть со своего наместа, рдела под насмешливыми взглядами обитателей ули-

цы Коленкура, не решаясь даже повернуть головы. Наконец дядя пришел ей на выручку. Нажав еще на какую-то ручку, он откинул боковую стенку, на которой изнутри, как оказалось, крепилась складная лестница.

— Просто, не правда ли? — подмигнул он кучке любопытных. — Однако у других машин такого почему-то нет.

Рене, избегая смотреть по сторонам, нервно поторапливала детей. По плану, созревшему у меня во время ожидания, я должен был как бы нечаянно оказаться с нею в лифте, чтобы уже сегодня попасться ей на глаза. Но теперь отказался от этого намерения, и правильно сделал. Она никогда в жизни не простила бы мне того, что я видел ее в дядюшкином драндулете, да еще на этом нелепом насесте. Я укрылся за газетой, сожалея, что не могу хотя бы встретиться с ней взглядом. Она с детьми была уже у двери дома, когда я подвергся непредвиденному испытанию. Бежавший следом за Рене дядюшкин пес Техас узнал меня по запаху и начал прыгать вокруг меня, норовя лизнуть в лицо.

— Смотрите, как вы ему понравились, — заметил дядюшка Антонен, оттаскивая пса за ошейник. — Странно. Даже со мной, хозяином, он не очень-то ласков.

Догнав Рене и детей в вестибюле, дядюшка стал с ними прощаться. Дети с таким жаром бросились к нему на шею, что во мне шевельнулась ревность. Рене, стесняясь этих нежностей на виду у прохожих, увлекла всех в глубину вестибюля. Но я еще услышал энергичный голос дядюшки Антонена, перекрывавший баритон диктора, который вещал из радиоприемника консьержки.

— Я приеду за вами в воскресенье утром, — говорил он. — Не отнекивайся, золотко. Раз твой муж в отъезде, развлекать тебя обязан я. Со мной ты будешь чувствовать себя уверенней. Значит, решено. Черт возьми, да о чем там еще думать, решено — и все дела. Я приехал бы и раньше, но нужно успеть переоборудовать машину. Открытый кабриолет — это здорово, правда, для хорошей погоды.

Выйдя из подъезда и оказавшись под деревьями, дядюшка задрал голову и плюнул вверх. Он метил в толстую ветку,

но не доплюнул и начал сызнава. Багровый, с гневно горящим взором, он предпринял четыре попытки. Наконец он смог дать себе передышку и, заметив меня у своей машины, сказал:

— Все-таки получилось. Странная штука — не знаю, замечали ли вы,— бывают дни, когда тебе ничего не удается.

— Вам все же удалось, хотя это было не так-то легко,— заметил я, постаравшись изменить голос.

— Верно. Особенно для меня, ранней пташки. Эх, видели бы вы меня утром! С утра я плюю на невероятную высоту. Кстати, я могу вас подвезти. Я возвращаюсь в Шату и еду через площадь Звезды. Разумеется, если вам надо куда-то недалеко от центра, я могу сделать крюк.

— Вы очень любезны,— ответил я.— Я как раз собирался спросить вас, не подвезете ли вы меня до площади Звезды.

V

Машина остановилась у обсаженной деревьями аллеи для верховых прогулок. Если не считать редких встречных автомобилей, проспект Булонского леса был почти пуст, безлюдна была и аллея.

— Я не собираюсь здесь выходить,— заявил я.— Мне нужно сделать вам одно признание.

Эти слова я произнес своим нормальным голосом. Дядюшка, вздрогнув от изумления, даже зажег карманный фонарик, чтобы получше меня разглядеть.

— О Господи,— сказал он,— готов поклясться, что слышал голос своего племянника.

— Голос Рауля? Что ж, вы не ошиблись. Дядя Антонен, я ваш племянник Рауль. Клянусь вам, дядя Антонен, я Рауль Серюрье. Вы же сами видели, меня и Техас узнал. Это я женился на Рене Рабийёр, дочери вашей сестры Терезы. Сегодня со мной приключилось нечто чудовищное.

У меня внезапно — даже не знаю, когда именно, — изменилось лицо.

— Вот это да, — пробормотал дядюшка. — Поразительно.

— Дядя Антонен, вы мне не верите.

— Отчего же, конечно, верю, раз ты сам мне говоришь. Но имею же я право сказать, что это поразительно. Или ты хотел бы, чтобы я счел это в порядке вещей?

Поразмыслив с минуту, дядя заключил: — В конце концов ничего невероятного тут нет. Правда, обычно превращения происходят постепенно, но бывает, что и молниеносно. Вот однажды, помнится, моя машина...

И дядя поведал мне, как однажды апрельским утром так преобразил свою машину, что вечером раз десять прошел мимо нее, не узнавая.

Вероятно, в утешение мне он хотел убедить меня в том, что если даже человек способен совершать чудеса, то всемогущий Господь и подавно. Увлечшись, он описал, каким был и каким стал кузов, перешел к двигателю, затем, обильно пересыпая речь техническими терминами, перечислил преимущества, полученные благодаря внедрению всех его новшеств, и, наконец, чтобы продемонстрировать мне ходовые качества своего последнего детища, тронулся с места.

— Кстати, где вас высадить? — забыв, с кем имеет дело, спросил он при въезде в Булонский лес. На что я, раздосадованный, сухо заметил: — Разрешите напомнить вам, что я ваш племянник Рауль.

Дядюшка смущенно извинился и остановил машину у Нижнего озера. Я уже начинал сожалеть о том, что с отчаяния решил все открыть этому милейшему человеку. При всей своей доброте и душевности он был довольно взбалмошным, и следовало подумать, прежде чем доверять ему тайну.

— А твоя новая физиономия совсем неплоха, — одобрительно сказал дядя, стремясь загладить свою неловкость. — Что говорит по этому поводу Рене?

— Она еще ничего не знает!

— Да-да, конечно, у тебя не было времени. Поехали быстрее, пусть полюбуется.

— Это исключено.

— Отчего же?

— Да оттого, что она никогда не поверит, что подобное могло произойти.

— Я-то поверил,— возразил дядя.

— Конечно, но вы — совсем другое дело.

— Угу. Я идиот. Так и скажи.

— Да нет же, дядя, совсем наоборот. Как бы вам объяснить. Мысль довериться вам пришла мне внезапно, когда я увидел, как вы взбираетесь на капот своей машины. Вы улыбались, а ваши великолепные усищи топорщились на ветру, как антенны. Я подумал: вот человек, способный перед лицом необъяснимого явления наплевать на так называемый здравый смысл. Дядя Антонен поверит своему сердцу. Это свойство встречается гораздо реже, чем принято думать. Вы скажете: поэты? Куда там! Для них чудеса — нечто эфемерное, как сон, как туман, который рано или поздно бесследно рассеивается. Поэт тащится позади своего разума, демонстративно выражая свое к нему презрение, но остерегаясь наступить ему на хвост. Нет, вы, наверное, один такой на земле. Я очень люблю вас, потому и решил вам открыться. И мне сразу полегчало. Я знаю, что вы ничем не можете мне помочь. Все, о чем я вас прошу,— не выдать меня. Уясните себе хорошенько: стоит мне заявить, что я Рауль Серюзье, как меня упрячут в сумасшедший дом.

— Ты что, думаешь, я круглый дурак? — оскорбился дядюшка Антонен.— Я прекрасно понимаю, в каком ты сейчас щекотливом положении. Будь спокоен, я промашки не дам. Кстати, напрасно ты считаешь, что я ничем не могу тебе помочь. Знаешь, что я сделаю? Поеду сейчас к Рене и расскажу ей все как есть. Уж мне-то, родному дяде, она поверит.

Становилось все ясней, что он способен натворить самых невероятных глупостей. Я не выдержал и вспылил:

— Если только вы сделаете это, я немедленно уезжаю за границу, и гори оно все огнем. Поймите наконец: никто и никогда не согласится поверить в подобную метаморфозу. И так и должно быть, иначе любой босьяк, прикончив Ага-хана *, мог бы присвоить себе его имя и состояние, любой проходимец — забраться в постель пригланувшейся ему женщины.

— Тем не менее, Рауль, факт остается фактом.

— Да, если его можно доказать, но и тогда это мало кого убедит. Конечно, если три тысячи человек в один голос заявят, что все так, как я говорю, то Рене, может, и поверит. Да и то вряд ли: насколько я знаю свою жену, для нее достоверно лишь то, что общепринято.

— Помилуй, Рауль, что ты говоришь?

— Даже если в глубине души она будет убеждена, что я действительно ее муж, то все равно сделает вид, что не верит. И будет права. Это не предусмотрено брачным контрактом. Окружающие, знакомые будут шокированы. Да и на детях это плохо отразится. Нельзя же, в самом деле, прививать детям мысль о том, что естественный порядок вещей может в любую секунду перевернуться вверх тормашками. Нет уж, поверьте мне, посвящать в это дело Рене или кого бы то ни было никак нельзя. Знаете, что нам грозит, если вы станете утверждать, что я Рауль Серюзье? Даже не сумасшедший дом, а тюрьма. Кинутся искать Серюзье, не найдут и обвинят нас в том, что это мы и отправили его на тот свет.

Дядюшка Антонен вздохнул, видимо, до крайности удрученный картиной герметически замкнутого мира, в котором нет места истине, доступной лишь немногим.

— Впрочем, я напрасно сказал, что вы ничем не можете мне помочь,— добавил я.— Ведь вы будете единственным моим прибежищем, единственным на свете человеком, для

* Ага-хан — наследственный титул главы мусульманской шиитской секты исмаилитов. Здесь имеется в виду Ага-хан III, Султан Мухаммедшах (1877—1957) — баснословный богач, которому исмаилиты всего мира, считая его живым богом, платили громадную подать.

которого я остался Раулем Серюзье. Смотрите, еще и полдня не прошло, как я стал изгоем, а меня уже потянуло излить кому-то душу. Есть и другая, более практическая сторона. Меня, как потерпевшего кораблекрушение, выбросило на чужой берег, где меня никто не знает, и мне совсем нелишне иметь в этом мире поручителя.

Дядя тут же предложил мне поселиться у него в Шату, где я помогал бы ему разводить свиней — премилых, по его словам, созданий. Чтобы окончательно меня соблазнить, он пообещал соорудить для меня миниатюрный, но элегантный и комфортабельный автомобильчик. Поблагодарив его, я рассказал о моих собственных планах. Идея соблазнить собственную жену показалась ему гениальной и вместе с тем чрезвычайно забавной. Запрокинув голову, он разразился гомерическим хохотом, раскатившимся по безлюдному парку подобно мощным аккордам органа в пустом соборе. И никак не мог остановиться. Время от времени, переведа дух, он орал во всю глотку: — Умора! Бедняжка Рене будет упиваться тем, что очутилась в объятиях — кого бы вы думали? — собственного муженька! Ой, не могу!

Он совсем разошелся, и я тщетно пытался укротить его веселье. Я уже почти кричал, но он хохотал так громко, что ничего не слышал. Мы подняли страшный шум и, должно быть, распугали всех лебедей на озере — все это не сулило ничего хорошего. На асфальте, слева от дядиной машины, показались неяркие отсветы. Я пихнул дядюшку Антонена в бок, но было уже поздно. Двое полицейских на велосипедах, привлеченные гамом и диковинным видом автомобиля, приближались к нам.

— У вас не включены подфарники,— заметил один из них почти отеческим тоном.

— Смотри-ка, и правда,— признал дядя.— Когда я остановился, было еще довольно светло.

Упущение было исправлено, и полицейские, может, и убралась бы восвояси, но тут дядюшка, вспомнив о племяннице, снова разразился хохотом — прямо в лицо тому из них, что все еще стоял, склонившись к дверце.

— Покажите ваши права,— сухо потребовал тот.

— Пожалуйста,— вызывающе-ироническим тоном ответил дядя и сунул руку во внутренний карман пиджака. Не найдя там искомого, он проверил другой карман, потом вернулся к первому, чертыхаясь сквозь зубы. Меня охватило предчувствие катастрофы. Похоже, дядюшка в очередной раз забыл права и карточку владельца. Сейчас нас пригласят в участок, а там спросят документы заодно и у меня — будет просто чудо, если дядюшка Антонен не ляпнет чего-нибудь такого, что навлечет на меня подозрения полиции. Кой черт дернул меня довериться дяде! Я уже видел плачевный финал своего приключения. Дядя тем временем добрался до заднего кармана брюк и уже довольно громко сетовал на то, что «проклятые права куда-то запропастились».

— Ну что, никак не найдете права? — вкрадчиво осведомился полицейский.

Невообразимо скрючившись на сиденье, чтобы дотянуться до кармана на ягодице, дядюшка Антонен пыхтел и потел, сясь расстегнуть непокорную пуговицу. Услышав издевательский вопрос, он распрямился и, испепеляя нахала взглядом, прорычал: — Права? Да на эти права...

Он осекся. Я уже готовился распахнуть дверцу и бежать в заросли. Но тут дядино лицо озарилось широкой улыбкой. Доставая из заднего кармана корочки, он небрежным тоном продолжал: — Права? Держите, вот они, мои права.

Изучив документ, полицейский записал нарушение и объявил: — Вы получаете предупреждение за то, что не включили подфарники в темное время суток.

Дядюшка снова издал рычание. Пинком в ногу я заставил его замолчать и, когда полицейские наконец укатили на своих велосипедах, в свою очередь заорал: — Вы что, нарочно? Задались целью привлечь ко мне внимание? Решили меня погубить? Господи, если б я знал! Ладно, ответите меня на площадь Звезды, и на сегодня хватит.

Страшно сконфуженный, дядюшка тронулся в путь. Время от времени он поглядывал на меня с боязливым смуще-

нием, но я хранил свирепый вид. Наконец он робко предложил подвезти меня до дому.

— Чтобы в довершение всего Рене или дети увидели, как я выхожу из вашей машины? Нет уж, благодарю покорно.

Все же я позволил ему доставить меня в конец улицы Коленкура. По дороге он спросил, когда мы увидимся.

— Сегодня у меня неудачный день,— признал он.— Не везет, и все тут. Но это ничего. Вот увидишь, у меня еще появятся замечательные идеи.

— В таком случае подождите, пока я объявлюсь, и посвятите в них меня. Я вам позвоню. И не забудьте, что отныне меня зовут Ролан Сорель.

Напоследок он спросил, не нужно ли мне денег: «Ты только скажи». Распрощавшись с ним, я пошел по улице Коленкура. Она настолько узка, что на ней сумеречно даже днем. Прохожие возникают в круге света под фонарем, затем словно проваливаются во мрак преисподней и вновь оживают под следующим фонарным столбом. Мне казалось, что все это мне снится. Свет на улице был точь-в-точь как обычно во сне, не дневной и не электрический — какой-то неестественный, будто смотришь сквозь закопченное стекло. Остро ощущая свое ничтожество, я шагал и шагал меж двух бесконечных извилистых стен, и то место, где они в перспективе сходились, все отодвигалось и оставалось таким же недостижимым, как и вначале,— безнадежная эта погоня тоже напоминала кошмар. Да и само мое немыслимое превращение разве не служило доказательством, что все происходящее я вижу во сне? Вот сейчас я протяну руку, коснусь теплого плеча Рене и проснусь наконец в своей постели, освобожденный от гнетущей тревоги. Однако голод давал о себе знать, и я обрадовался при виде вывески Маньера.

Войдя в длинный узкий зал, я был несколько ошеломлен бурлившей там жизнью и поначалу не мог различить отдельные лица, а лишь группки за столиками, из которых занято было штук пять-шесть. Я сел за первый попавшийся, пробежал глазами меню и, подперев голову

руками, стал представлять себе, как Рене с детьми ужинают сейчас в нескольких сотнях метров отсюда, обсуждая мой отъезд в Бухарест. И только когда подали закуски, я наконец как следует огляделся. Рядом ужинала чета иностранцев, обоим лет по пятьдесят, оба в спортивных костюмах — судя по покрою, из Центральной Европы. За столиками я узнал кое-кого из жителей квартала. Вот на своем обычном месте сидит художник Шазор и по-приятельски терзает одного из сотрапезников невинными с виду вопросами, скрытую иронию которых его жертве было нелегко уловить. По соседству азартно толковали о наплывах и монтаже киношники. А чуть поодаль рядом с другой молодой женщиной сидела Сарацинка и смотрела на меня. За тем же столиком спиной ко мне восседал какой-то плешивый толстяк. Я остановил на них притворно рассеянный, словно отсутствующий взгляд. И некоторое время созерцал Сарацинку, делая вид, будто не только не замечаю, куда она смотрит, но и вообще не вижу ее, погруженный в свои размышления. Выступающие скулы и четко очерченный профиль придавали ее круглому лицу некоторую жесткость и мужественность, что еще более подчеркивалось прической — парой симметричных, высоко подвернутых валиков иссиня-черного цвета. Черные глаза, лишённые бархатистой мягкости, сверкали сухим антрацитовым блеском. Тяжелый шелк лифа льнул к высокой тугой груди. Вырез ее платья, должно быть, открывал толстяку напротив недурное зрелище. Она ела, разговаривала и неотрывно смотрела на меня. Даже поворачиваясь время от времени к соседке, умудрялась держать меня в поле зрения. Наконец я решился ответить на ее взгляд. Глаза ее заблестели ярче, и я почувствовал себя в сладостном плену. Увидев, что я покраснел, она чуть улыбнулась и тоже слегка порозовела, но вовсе не от смущения. Вокруг уже начали обращать внимание на наш немой диалог. Я опомнился и, уткнувшись носом в тарелку, принялся сурово себя отчитывать. Рене, дети, моральные устои. Не следовало забываться и усложнять и без того драматическое

положение. Но было трудно прогнать мысль, что сегодня вечером я свободен и никто не потребует отчета в том, как я провел время. Сама добродетельность моей жены в моих глазах служила мне поводом поддаться искушению. Ведь чтобы сломить ее сопротивление, надо, хочешь не хочешь, овладеть приемами обольстителя. Все же я терзался жестокими сомнениями, и верный, послушный супруг начинал брать во мне верх. Еще раз, сам того не желая — во всяком случае, так мне казалось, — я встретился глазами с Сарацинкой, но тут же перевел взгляд на затылок мужчины, ужинавшего за ее столом, и принялся настойчиво, вызываясь рассматривать его. Он, наверное, богат — об этом говорил глянец его седых волос и розовая, как у англичанина, ухоженная кожа. Этаким достопочтенный господин, имеющий достаточно средств, чтобы содержать хорошенькую любовницу. Мне показалось, что Сарацинка досадливо повела плечом, как будто догадавшись о моих мыслях. Весьма удовлетворенный этим, я, избегая ее взгляда, снова уткнулся в тарелку, затем развернул газету. Вскоре я почти забыл о существовании Сарацинки. Когда мне принесли камамбер, ее соседи поднялись из-за стола. Сама же она не двинулась с места — при этом сердце у меня екнуло — и закурила сигарету. «Так вы действительно не поедете в театр?» — спросил ее плешивый. Она извинилась, сославшись на мигрень. Те двое наклонились над столиком и, очевидно, отпустили какие-то шуточные замечания, которых я не расслышал. Она посмеялась вместе с ними — громче, чем они, — и осталась сидеть. Проводив их взглядом до двери и оказавшись в одиночестве, она запрокинула голову и, глядя на меня сквозь прищуренные ресницы, пустила в мою сторону струйку дыма, которая растаяла в воздухе как раз над моим камамбером. Как я уже говорил, я не привык к тому, чтобы женщины добивались моего внимания, так что призыв этот пронзил меня словно током. Мой взгляд скользил по ней от ног и выше, пока не встретился с антрацитовыми глазами. Как только я разделался с ужином, она вышла.

Вышел и я и сразу увидел ее: она не спеша шла по улице Коленкура, по самой кромке тротуара, в тени деревьев. Догнав ее, я неуклюже извинился, сказав, что впервые в жизни — и это была сущая правда — заговариваю с женщиной без ее разрешения.

— Без разрешения? — усмехнулась она. — Разве мои настойчивые взгляды не дали вам такого разрешения? Впрочем, надеюсь, вы будете великодушны и постараетесь побыстрее об этом забыть. Как вас зовут?

Голос у нее был с чувственной хрипотцой, и держалась она удивительно непринужденно. Я ответил, что мое имя Ролан Сорель и я живу неподалеку. И тотчас перевел разговор на спектакль, который она сегодня пропустила, в ответ на что она заметила: — Что-то вы не испытываете особого желания говорить о себе. Да и обо мне тоже. Вы даже не спросили, как меня зовут.

— Видите ли, я дал вам имя уже очень давно.

— Очень давно? Но я вас сегодня впервые увидела.

— Зато я вас знаю. Знаю, например, что две недели назад на вас было фиолетовое платье с белой отделкой. Я называю вас Сарацинкой. А как ваше настоящее имя?

— На сегодня Сарацинка. По-моему, оно мне идет.

Она рассмеялась, обнажив два ряда великолепных зубов, и рукой в перчатке сильно сжала мне кончики пальцев. Мы стояли под кроной дерева. Решительным тоном прервав мои неуклюжие комплименты, она стала сама направлять разговор. Изъяснялась она с прямою уверенною холостяка, но без тени вульгарности. Смотрела на меня с откровенным и доброжелательным любопытством, не кокетничая и обращаясь со мной — хотя ей было двадцать шесть лет, а мне она давала тридцать два — как с младшим кузенком, с которым можно приятно провести время, не забывая при этом, однако, о своем долге старшей сестры. Подобная опека отнюдь не была мне неприятна. Мы шли от дерева к дереву, то и дело останавливаясь. Между прочим, она сказала, что подметила забавное несоответствие между моим поведением и внешностью. По-

раженный и сконфуженный этим замечанием, я стал думать, как бы получше ответить, но тут услышал торопливый перестук женских каблучков и увидел Рене, идущую вниз по улице Коленкура. Она прошла рядом, не заметив нас — мы стояли в тени, — а потом перебежала на противоположный тротуар. Никогда еще на моей памяти Рене по вечерам не выходила из дому одна. Мысль о том, что она в первый же день решила воспользоваться моим отсутствием, чтобы отправиться к любовнику, бросив детей дома одних, привела меня в неописуемую ярость. Сарацинка смотрела на меня, удивленная моим внезапным молчанием и, наверное, изменившимся выражением лица. Я же бесцеремонно притянул ее к себе, сжал в объятиях с такой силой, словно репетировал убийство, и вместе с поцелуем выдохнул: «Завтра у Маньера. А сейчас мне нужно уходить».

Держась в тени, я двигался параллельно Рене, шедшей по противоположной стороне улицы, стараясь не терять ее из виду и слыша цокот ее каблучков. Я готов был то осыпать ее гнусными оскорблениями, то умиленно разрыдаться. В конце улицы Рене остановилась и позвонила в дверь. Кошмар развеялся. Я с облегчением узнал дом, где жили наши друзья, Марионы. Мне вспомнилось, что у них захворал ребенок. Ну конечно же, они позвонили Рене или она им, и она решила навестить больного малыша. Купаясь в блаженстве, я смиренно выслушивал укоры совести, пенявшей мне за то, что я заподозрил свою чистейшую супругу, тогда как сам только что был готов упасть в объятия первой встречной. Я понял, что не заслуживаю такой жены, как Рене.

У Марионов она пробыла не более получаса. Я дал ей уйти вперед, а ближе к нашему дому ускорил шаг, чтобы подойти к подъезду одновременно с ней. Открыв дверь, я пропустил ее, однако она не обратила на меня никакого внимания. Оттого, что она была здесь, рядом, и вместе с тем недоступна, я с новой силой ощутил чудовищность своего положения и ужаснулся при мысли, что уже

почти свыкся с этим. Вид у Рене был грустный и озабоченный — я приписал это моему отъезду, и к горлу у меня подступил комок. В лифте я спросил, на какой ей нужно этаж. «На пятый»,— ответила Рене, подняв на меня свои холодноватые серые глаза, и на миг мне показалось, что ее заинтересовало мое лицо. Я подумал, что в моем голосе, наверное, сохранились знакомые ей интонации, хотя мне не составляло труда его изменить, тем более что и губы, и щеки — все было другим. Впрочем, Рене больше не удостоила меня и мимолетным взглядом. Она вернулась к нам домой. Я поднялся к себе.

VI

Проснувшись наутро в новом жилище, я первым делом кинулся к зеркалу, но, увы, увидел в нем то же, что и накануне. Погода стояла унылая: морозящий дождь, порывистый холодный ветер. То и дело я высовывался в окно, но ни разу не застал на балконе никого из домашних. Одеваясь и умываясь, я вновь перебрал в уме ставшие со вчерашнего дня привычными мысли по поводу своего превращения и осознал, что наступивший день мне, собственно, нечем заполнить. Поскольку подстроить встречу с женой не было никакой возможности — тут я вынужден был полагаться на случай,— меня ожидала полнейшая праздность. Пока счастливое стечение обстоятельств — если таковое вообще наступит — не столкнет нас, Рене оставалась для меня такой же далекой, как если бы я действительно уехал за границу. Рисовать в воображении картину повседневной жизни на пятом этаже я с таким же успехом мог бы и в Бухаресте. Более того, это бесполезное соседство уже вызывало у меня досаду и чуть ли не раздражение, как головоломка, над которой бьешься долго и упорно без всякого толку. Образ Сарацинки, который я с тех пор,

как проснулся, не раз уж гнал от себя, навязчиво возвращался, и я, сдавшись, позволил ему завладеть моими мыслями. Какими только упреками не осыпал я себя за вчерашнюю слабость, но теперь она казалась мне вполне простительной. В моем ни с чем не сравнимом одиночестве человека-невидимки я нуждался в любви и имел на нее право. Я уже говорил и считаю нелишним еще раз напомнить, что всегда почитал за долг соблюдать супружескую верность и с большой неохотой шел на сделку с совестью. Кое-кто из читающих мои записки, возможно, заподозрит меня в лицемерии. И совершенно напрасно. От природы я человек основательный, вполне, к счастью, заурядный, трудолюбивый, верный друг, патриот, образцовый гражданин, покладистый супруг — но двойное разлагающее влияние анархии и особенно холостяцкой жизни пробудило во мне какие-то бесовские силы. Нужно побывать в моей шкуре, то есть в положении человека свободного и в то же время женатого, чтобы понять, что значит для мужчины брак. Деспотизм супруги, которая направляет его, держит в шорах, обуздывает его страсти и бесполезные прихоти, отрезвляет в разгар опасных мечтаний и тем самым дает ему возможность всецело посвятить себя искусству зарабатывать деньги, есть неоценимое благо. Я не раз задавался вопросом, почему я женился на Рене. Она миловидна, но таких сотни тысяч, и небогата. Что же касается любви, то если не считать отдельных всплесков, редко наводящих на мысль создать семейный очаг, после того как тебе исполнилось двадцать пять, влюбиться можно, только когда сам этого захочешь. Впрочем, это отнюдь не обрекает поздний брак на неудачу. Возможность выбора — а именно она имеет решающее значение — означает свободное суждение, которому отнюдь не благоприятствует страсть. И вот теперь в своей новой холостяцкой квартире я вдруг понял, что женился для того, чтобы вверить в надежные руки часть своего существа — ту, что всегда переменчива, мятежна, мечтательна, бестолкова, расточительна, легко поддается бесовским соблазнам, побуждающим отпрысков почтенных се-

мей вливаться в ряды смутьянов, а старых холостяков — бродить ночами по улицам. Рене мне нравилась — вот я и выбрал ее, дабы вручить ей ключи от сундука, где заперты все эти непредсказуемые порывы, а теперь, когда устоявшийся порядок полетел к черту из-за моей метаморфозы, загорелся передать эти ключи Сарацинке, ибо владеть ими самому мне было страшно. И некоторые деспотические замашки, которые я обнаружил в ней накануне, лишь усиливали мою тягу к ней.

Я оделся и был готов к выходу в половине девятого — в это время я обычно ухожу на работу. Но хотя никто не приготовил мне привычной чашки кофе, я не торопился спускаться вниз в кафе: мне было решительно нечего делать на улице. Я еще раз обошел все три комнаты, обследуя свои новые владения. На полках в гостиной-будуаре красовались труды отца Массийона* и двенадцать томов «Истории Франции» отца Даниеля**, все в кожаных переплетах. Я надеялся отыскать какой-нибудь роман Дюма, но тщетно. Обнаружив телефон, я удостоверился, что он работает, и мне пришла мысль позвонить Рене. Немного потренировавшись говорить на разные голоса, я набрал номер.

— Алло,— ответила Рене, и я пискнул фальцетом:

— Монмартр, тридцать два? Сейчас с вами будут говорить.— Потом сосчитал до двадцати и заговорил своим обычным, но слегка приглушенным голосом: — Алло, Рене? Я звоню из Бухареста. Долетел прекрасно.

— Как я рада, дорогой. Я волновалась за тебя. Все-таки самолет. Тебе не было плохо?

— Ничуть. Как прошла вылазка?

— Я вполне обошлась бы и без нее. Кстати, дядя Антонен звонил сегодня в шесть утра. Говорил о тебе и бог весть о каком изменении, которое, дескать, может прои-

* Жан-Батист Массийон (1663—1742) — знаменитый проповедник, член Французской академии.

** Габриель Даниель (1639—1728) — иезуит, автор известных исторических сочинений.

зойти в тебе за время твоей поездки. Я так ничего и не поняла.

— Бедный дядя. Не хотелось тебе говорить, но я уже не раз замечал, что у него что-то не в порядке с головой. Если он будет тебе надоедать, постарайся отвязаться. Ну а дети как, нормально?

— Да. Сегодня собираюсь сводить их в музей. Если бы ты знал, как опустел без тебя дом. Милый, мне кажется, мы говорим уже довольно долго. А минуты стоят дорого.

— Ты права. До свиданья, дорогая. Я тебе напишу.

Это меркантильное напоминание о цене времени в тот самый момент, когда, казалось, она была так растрогана, несколько покорило меня, но сослужило мне хорошую службу. Меня снова одернули, призвали к порядку, и я почувствовал, что способен сосредоточиться на практических вопросах, которые поставила передо мной моя метаморфоза. Мне стало стыдно за то, что минуту назад я раздумывал, как бы скоротать скучный день и дожидаться вечера. Неужели у меня нет занятий достойней, чем ухлестывать за женщинами, пусть даже и за собственной женой? Сорок тысяч франков, взятые накануне в банке, и шестьдесят с чем-то тысяч, оставшиеся в распоряжении Рене, — этого не хватит навечно, тем более что семье предстоит отныне нести чуть ли не двойные расходы. Так что следовало, не теряя ни минуты, отправиться на поиски работы. Минуты стоят дорого. Я спустился в «Мечту», наспех выпил у стойки кофе и сел в автобус. По дороге меня осенило. Надо просто-напросто явиться к Люсьене с рекомендательным письмом от самого себя.

Около одиннадцати я вошел в агентство. Люсьена беседовала с клиентом, и госпожа Бюст попросила меня обождать в приемной. Я чувствовал себя полковником, который решил завербоваться простым солдатом. Госпожа Бюст — про себя я называл ее «мадам Доска» — то и дело посылая мне из своего окошка лучезарную улыбку, предназначавшуюся, насколько я мог судить, наиболее солидным клиентам. Не прошло и получаса, как меня впустили

в мой кабинет. Люсьена выглядела почти так же, как накануне, только лицо у нее дышало безмятежностью, а глаза так и сияли — как ни был ей дорог хозяин, но она явно испытывала облегчение оттого, что он не стоит у нее над душой. Представившись, я протянул ей письмо, только что написанное на почте. Она усадила меня и, ознакомившись с письмом, села напротив, в директорское кресло.

— Вчера я провожал в аэропорту Бурже одного родственника и встретил там господина Серюзье, своего давнего друга. Мы поговорили, и я рассказал ему, что нахожусь в затруднительном положении.

— Значит, вы хотите работать у господина Серюзье. В какой же области?

— Господин Серюзье порекомендовал мне заняться продажей металлов и одновременно рекламой.

— Лучше было бы остановиться на чем-нибудь одном, по крайней мере поначалу. В чем состоит наша работа, вам, конечно, известно, хотя бы в самых общих чертах. Позвольте спросить, чем вы занимались до сих пор?

Я ответил, что занимался продажей текстиля. Люсьена слушала меня холодно, опустив глаза и играя моим ножом для разрезания бумаги. В ее поведении угадывалось желание во что бы то ни стало избавиться от меня и исправить то, что она считала досадной оплошностью хозяина, которого разжалобил этот его позабытый знакомый. Моя внешность красавчика вряд ли внушала ей доверие. Я сам не раз говорил ей, что лишь немногие, особо одаренные натуры могут делить себя между работой и женщинами. Кроме того, она с полным основанием считала, что если новый сотрудник окажется человеком пассивным, он только повредит делу, если же, наоборот, будет слишком расторопным, то в один прекрасный день может отделиться, умыкнув у нас часть клиентуры. Действительно, мое весьма скромное предприятие могло приносить доход, только оставаясь в руках одного человека.

— В общем, — подняв на меня глаза, сказала Люсьена, — у вас нет никакого опыта в подобной работе. Боюсь, что

за время одной краткой беседы господин Серюзе не успел в достаточной мере ни ознакомить вас с делом, ни сам ознакомиться с вашими деловыми качествами.

Я собрался было возразить. Но Люсьена прибавила еще суровее: — Похоже, вы считаете, что речь идет о работе коммивояжера. Нет, тут совсем другое. Продавать тонны металла и торговать галантерейной продукцией — разные вещи. Нужно иметь связи, знать определенные круги. Это такая работа, которой можно заниматься эффективно только после длительной подготовки. Даже если предположить, что вы проявите определенные способности и изрядную настойчивость, первых заработков вам придется ждать не раньше чем через полгода.

Она сделала паузу, чтобы оценить впечатление, которое произвели ее слова. Я восхищался ее здравомыслием, а еще более — упорством, с каким она отстаивала мои интересы. Не в силах побороть этот тайный восторг, я поддакнул: — Разумеется.

Увидев, что я сдался так легко и быстро, она взглянула на меня уже с сочувствием, нисколько, впрочем, не поколебавшим ее решимости отделаться от меня раз и навсегда.

— Кроме того, — продолжала она, — процент комиссионных, который мы в состоянии вам выплачивать, наверняка гораздо ниже того, на что вы рассчитываете и что могли бы получать в более крупном агентстве. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств вы не сможете заработать на жизнь. Если вы действительно намерены подвизаться в этой области, куда разумней поступить в фирму, не столь ограниченную в средствах. Кстати, тут я могла бы вам помочь. Не откладывая. Хотите, я договорюсь, чтобы вас принял вице-директор агентства «Стюб»?

Она потянулась к телефону. По логике вещей мне следовало согласиться, поскольку в глубине души я был согласен со всеми доводами Люсьены и не мог подобрать сколько-нибудь веского возражения, но ее в любом случае необходимо было поставить на место. Кроме того, я был уязвлен тем, что она придала столь мало значения моему

письму. Жестом остановив ее, я довольно сухо сказал:

— Я еще слишком неопытен в вашем деле, чтобы по достоинству оценить ваши аргументы, но я обещал свое сотрудничество господину Серюрье. Если я не ошибаюсь, как раз об этом и говорится в его письме.

— Что ж, хорошо,— не моргнув глазом, ответила Люсьена.— Когда вы намерены приступить к работе?

— Сегодня же.

— Тогда я введу вас в курс дела.

Она написала на листке бумаги названия зарубежных фирм, чей товар я должен сбывать, минимальные цены для товаров разных категорий и некоторые другие вспомогательные сведения. Все уместилось на полстранице.

— Вот,— сказала она, протягивая мне листок.— Теперь дело за вами.

Она встала, но я продолжал сидеть.

— Простите,— сказал я,— но я бы еще хотел получить перечень клиентуры.

— Те клиенты, с кем мы уже имеем дело, не могут быть включены в сферу вашей деятельности. Это было бы и впрямь чересчур легким заработком.

— Но ведь в таком случае я рискую вступить в переговоры с кем-нибудь из них, не подозревая, что они и так уже наши клиенты.

— Сомневаюсь,— с иронией в голосе отозвалась Люсьена.— Впрочем, вам достаточно держать меня в курсе ваших планов. Я вас уведомя.

Она снова встала из-за стола. Я не пошевелился.

— Разрешите узнать, мадемуазель: в случае, если кто-нибудь из моих будущих клиентов попросит вас дать мне характеристику, могу ли я рассчитывать, что она будет положительной?

Это было глупо. Наши шансы в этой игре были неравны: я знал все ее карты, но не раскрывал своих, так что мне надо было всего лишь посмеяться про себя над таким нелюбезным приемом. Но я так основательно влез в новую шкуру, что враждебность Люсьены задела меня за живое.

— Мне непонятен ваш вопрос,— слегка зардевшись, ответила Люсьена.

— Непохоже, чтобы друзья господина Серюэе внушали вам доверие,— со смешком добавил я.— Признаться, после разговора с ним я надеялся на более теплый прием.

— Я всего лишь его секретарь. Подбадривать вас не входит в мои функции.

И она смерила меня таким взглядом, что я пришел в бешенство. Я уже перестал понимать, кто я такой на самом деле. Беды, которые обрушились на мою голову в результате метаморфозы, и вымышленные беды того, чью роль я играл, сливались у меня в сознании воедино — не сам ли я был тому виной? — и порождали невыносимо тягостное чувство отверженности. Сюда примешивалась, видимо, и горечь от того, что я не мог открыться ей, Люсьене, которая была мне так близка. Люсьена же неторопливо, с достоинством вышла из-за стола и устремила взгляд на дверь, давая понять, что разговор закончен. Я почувствовал, что багровею. Должно быть, и глаза налились кровью. Встав перед Люсьеной, я запальчиво выкрикнул: — Этого вы могли бы мне и не говорить. Да, не вам подбадривать несчастного, который потерял все и которому не на что больше надеяться в жизни. Вы правы, не растрачивайте свои душевные силы на неудачника. Какой с него прок? Любыми средствами уберите его со своего пути, а если у него остался шанс, пусть даже самый крохотный, не брезгуйте отнять и его. Подтолкните его к бездне. Скажите ему: ты потерял жену, детей, состояние, у тебя нет ни денег, ни ремесла, так подыхай же! Последнему псу — и тому дадут глоток воды, бросят кость, а мне говорят — подыхай, твое место на свалке, ты ничтожество, полное ничтожество!

Слова застревали у меня в горле, я стал задыхаться. Из глаз брызнули слезы. Отвернувшись к окну, я разразился рыданиями. Я содрогался, стонал и всхлипывал. Нечто подобное я слышал в детстве, когда выносили покойника. Так продолжалось несколько минут. Казалось,

слезы никогда не иссякнут. Впрочем, они приносили мне облегчение, как будто даже восстанавливали некое внутреннее равновесие: именно такую, чрезвычайно бурную реакцию и должно было рано или поздно вызвать случившееся со мной невероятное происшествие. Между тем Люсьена подошла к окну и молча встала позади меня. Я услышал, как она пробормотала:

— Я была не права. Простите меня, прошу вас.

Я ответил не сразу. Последние рыдания еще рвались наружу.

— Я была не права,— повторила она.

— Нет, это я повел себя глупо,— сказал я, не поворачивая головы.— Вы поступили как должно.

— Я не должна была так обескураживать вас. Это непростительно.

Пока мы обменивались репликами в том же духе, я всхлипывал и держался к ней спиной. Мне было стыдно за этот приступ отчаяния, в котором к тому же была изрядная доля фарса. Наконец я резко повернулся, широкими шагами пересек кабинет, взялся за ручку двери и сказал: — Сожалею, что устроил вам такой концерт. Сообщите, пожалуйста, господину Серюлье, что я отказался от его предложения.

— Прошу вас,— проговорила Люсьена, идя за мной по следам,— будьте великодушны. Забудьте все, что произошло. Иначе я не прошу себе, что так плохо вас приняла, да и господин Серюлье мне этого не простит.

Она подошла ко мне вплотную. Ее славные черные глаза были влажны от раскаяния и теплых чувств. Я потупился словно в нерешительности.

— Приходите сегодня после обеда или завтра. Я подготовлю для вас самые подробные инструкции, которые облегчат вам задачу. Механизм нашего дела весьма несложен. Вот видите,— добавила она и улыбнулась,— я честно признаюсь, что прежде морочила вам голову.

— Если бы я был уверен, что вы были не правы,— пробормотал я.— Впрочем, поживем — увидим. Раз вы так ми-

ло, от чистого сердца предлагаете, я приду, но не раньше, чем заключу хотя бы одну сделку.

Расстались мы дружеским рукопожатием, в которое Люсьена вложила чуть ли не материнскую теплоту. Было около полудня. Я перекусил в ресторанчике поблизости, где иногда обедал, когда у меня не было времени идти к себе на Монмартр. Там всегда собирался народ — более или менее постоянные клиенты, в основном из деловых людей. Постепенно я перезнакомился со многими из них, так что, входя в зал, всегда с кем-нибудь да раскланивался. Вот и на этот раз за соседним столиком сидел некто Куэнон, с которым у меня в прошлом году были деловые контакты. Когда я проходил мимо него, он равнодушно скользнул по мне взглядом. Я с аппетитом принялся за еду, но все время думал, сам себе изумляясь, о представлении, которое разыграл в кабинете. Изумляло и даже пугало меня не столько то, что я разрыдался, сколько то, как с чисто женской ловкостью обработал Люсьену. Почти ненамеренно я применил уловку отъявленной кокетки — выставить напоказ обезоруживающую слабость, еще более трогательную благодаря смазливой мордашке, и таким образом завоевать сердце мужчины. Казалось бы, даже первый, вынужденный обман должен был быть мне неприятен, а я добавил к нему еще один, совершенно излишний, да к тому же недостойный. Разве к лицу мужчине прибегать к такой мелкой и пошлой лжи? Откуда во мне взялось это двуличие, эта по-женски коварная лживость? До сих пор я грешил скорее излишней прямолинейностью, и чувство собственного достоинства было развито во мне достаточно сильно, так что даже в самой критической ситуации мне не пришла бы в голову мысль проделать трюк наподобие того, который только что блестяще удался мне с Люсьеной. Чем так опускаться, я предпочел бы остаться ни с чем. А я-то считал, что моя метаморфоза была чисто внешней, и имел на то все основания. Достаточно было мысленно перебрать свои вкусы, симпатии и антипатии: в мужчинах и в женщинах, в пище духовной и материальной, да мало ли еще

в чем я ценил то же, что и прежде. Оставалось допустить, что эти актерские способности, казалось бы несвойственные мне по складу характера, дремали во мне и до метаморфозы, о чем я до поры до времени и сам не подозревал. Благодаря новому лицу — или, если угодно, благодаря тому, что я осознал, насколько оно изменилось,— во мне пробудилась к жизни эта потаенная струна, которую на протяжении всего моего прошлого существования заглушали другие, более созвучные моему тогдашнему облику.

В общем, то, что произошло в кабинете, оправдало мои вчерашние предчувствия. Между лицом человека и его внутренним миром действительно существует определенная связь, некое воздействие друг на друга. От этой мысли мне стало не по себе. Кто знает, как далеко мне суждено продвинуться по тому ложному пути, на который я только что ступил, как низко я паду, когда полностью освоюсь с новой внешностью? Я украдкой разглядывал своего соседа, Куэнона: крупное костистое лицо, массивный подбородок, на котором кое-где торчат не поддавшиеся бритве рыжие волосы,— шельмовская физиономия с лисьими глазками и острым носом. Я знал его как человека грубого, алчного, не ведающего угрызений совести, но в глубине души незлого. Иногда он впадал в грустную отрешенность и тогда проявлял этакую застенчивую щедрость, как будто его сердцу становилось нелегко приноравливаться к облику грубого мужлана. Наблюдая за тем, как он ест, как высокомерно отчитывает официанта, я мысленно пытался вылепить ему другое лицо, которое высвободило бы лучшую часть его естества, томившуюся в недрах подсознания.

Выйдя из ресторана, я решил позвонить дядюшке Антонену, чтобы найти утешение в звуках дружеского голоса.

— Алло,— отозвался дядя,— это ты, Рауль?

— Да, но вы забыли о моей просьбе. Повторяю вам, меня зовут Ролан Сорель.

— Да-да, Лоран Морель. Я не забыл, просто подумал, что по телефону это не имеет значения. Мальчик мой, я рад, что могу с тобой поговорить. У меня есть для тебя

замечательная новость. Сегодня утром я звонил твоей жене.

— Я знаю. Она мне говорила.

— Она тебе говорила?!

— Я позвонил ей как бы из Бухареста.

— Вот это да,— пробормотал дядя,— потрясающая идея. Я бы до такого ни за что не додумался.

— Идея-то, может, и неплоха, да что толку? Послушайте, дядя, мне нужно задать вам важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Так вот, какое впечатление произвело на вас мое новое лицо?

— Великолепное,— не раздумывая, произнес дядя.— Ты выглядишь очень симпатичным малым, но в твоей физиономии есть еще что-то такое, чему мне трудно подобрать название. Впрочем, вот: со своим теперешним лицом и при том, что я знаю тебя как облупленного, ты напоминаешь мне мою машину нынешней весной, когда я поставил на нее шестицилиндровый двигатель. Не знаю, припоминаешь ли ты: шикарная, каких поискать, но хрупкая и легкая. Никому бы и в голову не пришло, что под капотом у нее скрывается такой мощный мотор. Правда, в один прекрасный день все разлетелось на куски. Не помню, рассказывал ли я тебе. На Орлеанском шоссе...

— Да-да, вы уже рассказывали. Я понял ваше сравнение. Ну, а что вы еще можете сказать?

— Да все, пожалуй. Хотя нет. Чуть не забыл. Бесподобная идея. Дорогой мой Рауль, то есть Гонтран, я уверен, сейчас ты разинешь рот. Это осенило меня внезапно, сегодня в шесть утра. Я думал о тебе и пришел к выводу, что самое удивительное в твоей истории — то, как мгновенно ты изменился. Именно это покажется Рене невероятным. Зато если бы превращение совершалось постепенно, хотя бы недели три-четыре, пока ты будешь в Бухаресте, это было бы более приемлемо.

Несколько секунд логика дядюшки Антонена казалась мне достаточно убедительной, но потом я пожал плечами. Чудо нельзя отмерять. Это противоречит его сути. Если бы метаморфоза оказалась не полной, а затронула, к при-

меру, лишь верхнюю часть лица, она не перестала бы быть чудом, и точно так же безразлично, осуществится она за месяц или за минуту.

— Так что я позвонил Рене,— продолжал дядя,— и постарался подготовить ее к мысли, что из поездки ты вернешься преображенным. Сам понимаешь, что на первый раз я действовал очень осторожно.

— Могу себе представить. А вы не опасаетесь, что Рене удивится вдруг прорезавшемуся у вас дару прорицателя?

— В том-то и дело, что я не пытался ничего предсказать. Я просто внушал ей определенные мысли.— И дядя самодовольно добавил: — Все это прозвучало как бы невзначай.

Я колебался, стоит ли мне отговаривать его от этой затеи. Встревоженный моим молчанием, он спросил:

— Ты доволен?

— Конечно, дядя, конечно.

— А главное, эта идея позволяет тебе отказаться от плана соблазнить Рене. Ты у нас теперь красавчик, так что мог бы в этом преуспеть, а бедной малышке придется нелегко, да и тебе тоже. Так, значит, ты не возражаешь?

Святая простота, ему и в голову не пришло, что, поскольку я сосед Рене, она сто раз увидит меня в лифте за время моей мнимой отлучки. И уж во всяком случае, я не намерен говорить ему, что прямо сейчас отправляюсь в музей в надежде познакомиться там с Рене.

VII

Я бродил среди скелетов допотопных чудищ, размышляя о том, что их судьба, так или иначе объяснимая с научной точки зрения, куда менее удивительна, чем моя. Польщенный этим, я благосклонно разглядывал гигантских ящеров, чьи остовы наводили на мысль о корабельной верфи. Я держал в руках блокнот и демонстративно делал в нем

пометки, а иногда зарисовки челюсти какого-нибудь бронтозавра или берцовой кости птеродактиля — все это разыгрывалось с таким расчетом, чтобы возбудить у моей жены интерес, а если удастся, и завязать с ней разговор. Я еще не решил, за кого себя выдать — за натуралиста или архитектора, который черпает вдохновение в этих грандиозных творениях юной Земли. Профессия архитектора, творческая и в то же время вполне солидная, не могла не понравиться Рене. С другой стороны, я знал, что натуралистов она представляет себе не иначе как с седой шевелюрой и в очках с золотой оправой, и такой натуралист, как я, наверняка вызовет ее любопытство, а это уже кое-что.

Вначале я увидел детей. Они рассматривали огромную, как корабль, грудную клетку мегатерия.

— Потрясно,— говорил Люсьен, когда я подошел к ним.— И подумать только, эдакая махина лопала одну траву. А сколько же тогда молока давали самки!

— Самки? — переспросила Туанетта, поднимая глазки на своего взрослого двенадцатилетнего брата.

— Ну, коровы, чтоб тебе было понятней.

Я воспользовался этим замечанием, чтобы вклиниться в разговор.

— Действительно,— сказал я,— коровы этого вида животных отличались высокой продуктивностью. Удалось подсчитать, что они давали в день до полутора тысяч литров молока.

Итак, решено: я натуралист.

— Потрясно,— пробормотал Люсьен с уважительной симпатией, которая относилась скорее к мегатерию, чем ко мне. Я почувствовал, что он не прочь задать мне кое-какие вопросы, но из робости не решается. Туанетта, которую мало тронула чудовищная цифра, перевела свои чудные карие глазенки на меня и, встретив дружелюбный взгляд, доверчиво мне улыбнулась. Я прямо затрепетал от волнения. Прижать бы их к себе, расцеловать в милые щечки! Дома я отдавал им все свое время, покорно отвечал на бесчисленные вопросы, помогал делать домашние за-

дания и участвовал в играх. Когда я приходил с работы, Туанетта вешалась мне на шею — бывало, прижмется носом, обхватит ногами, как толстый ствол дерева. Больше этого никогда не будет, хотя вот она, рядом.

Отвернувшись, чтобы овладеть собой, я увидел Рене — она стояла метрах в пятнадцати от меня между передними конечностями чудовища, как под портиком собора, и разговаривала с кем-то, кого частично закрывала от меня одна из берцовых костей колосса. Присутствие третьего лица не входило в мои планы. И все же я двинулся в сторону жены, делая на ходу пометки в блокноте. Похоже, ничего не выйдет. Все, что я могу предпринять, — это пройти рядом с Рене, притворившись, будто не замечаю ее. Если она меня узнает, будет хоть какой-то толк: я привлеку к себе ее внимание. Однако в последнюю секунду меня что-то остановило. Вытащив из кармана лупу, я, не заботясь о том, как смешотворно выглядит это занятие, рассматривал мега-терия через лупу, склонившись над пальцами ноги скелета. Выпрямляясь, я нос к носу столкнулся с дядюшкой Антоненом, который, до крайности изумленный, проронил: — Смотри-ка, вот и Рауль.

— Рауль? — спросил я, испепеляя его взглядом.

— Я хотел сказать — Гонтран, — поправился дядюшка Антонен, — но каким ветром тебя сюда занесло?

Я лишь сожалел, что не могу придушить его тут же, на месте, однако нашел в себе силы учтиво ответить: — Прощу меня извинить, мсье, но меня зовут не Рауль и не Гонтран. — И, обернувшись к Рене с приличествующей случаю любезной улыбкой, добавил: — Мое имя Ролан Сорель.

— Ну да, Лоран Борель, но как же так...

По замыслу дяди, Рене не должна была видеть до срока мое новое лицо, теперь же все его планы рухнули. Он сокрушенно махнул рукой и сквозь зубы чертыхнулся.

— Скажите, а вы случайно не профессор Урусборг из Стокгольма? — спросил я. — В своем последнем письме...

— Что? Профессор? Нет тут никакого профессора, есть только дядюшка Антонен. Чего ломать комедию, раз

уж все пошло кувырком.

Удивленно вздернув брови, я некоторое время помолчал словно бы в нерешительности. Наконец, показывая всем своим видом, что только присутствие очаровательной дамы помешало мне поставить невежу на место, я заговорил, обращаясь на сей раз к Рене: — Еще раз прошу прощения. Я натуралист и договорился — правда, не совсем определенно — встретиться здесь с одним своим шведским коллегой, которого знаю только по переписке. Теперь вам понятна моя оплошность. Мне, право, неловко.

Рене оставалось только любезно возразить на мои извинения.

— Ваша профессия, должно быть, удивительно интересна,— добавила она тем светским тоном, каким разговаривала с гостями, мне он всегда был неприятен.— Вы специализируетесь в области палеонтологии?

Она явно гордилась тем, что употребила такой мудреный термин. Я благодарно улыбнулся ей и заговорил более непринужденно, как будто ее эрудиция выручила меня, позволив перевести разговор на близкую мне тему.

— Нет, палеонтология занимает меня лишь в определенном смысле: я работаю над трактатом об эволюции позвоночных к состоянию всеядности. На первый взгляд этот тезис может показаться спорным, но я располагаю вескими аргументами. Одним словом, я пришел сюда, чтобы проверить кое-какие догадки на практике, и должен признаться, не вполне удовлетворен. Но вы, похоже, и сами прекрасно разбираетесь в этих вопросах, мадам?

— Что вы... Просто я очень этим интересуюсь,— ответила Рене, никогда не умевшая отличить пчелу от шмеля.

Она зарделась от удовольствия, польщенная тем, что я так высоко оценил ее познания. Не зная, радоваться этому или нет, я почувствовал, что начинаю вызывать у нее симпатию. Дядюшка Антонен, который никак не мог простить мне, что я спутал ему все карты, принялся бурчать:

— Натуралист, понимаешь ли. На что это похоже. Зря не послушал меня, старика. Тоже мне натуралист.

— Дядя,— обратилась к нему Рене,— ты не присмотришь за детьми, чтобы они далеко не уходили?

Когда дядя, продолжая ворчать, отошел, Рене извинилась передо мной за его фамильярность и нелепые замечания. Она дала понять, что у него бывают странности, но попыталась как-то объяснить их, не задевая чести семьи. Не скажешь же, в самом деле, что твой родной дядя не совсем в своем уме. Видя ее затруднение, я поспешил прийти ей на помощь:

— Ваш дядя показался мне восхитительным оригиналом.

Я сказал именно то, что следовало. Рене расцвела и с облегчением принялась потчевать меня разными историями, доказывавшими дядину оригинальность. Все они в той или иной степени были выдуманы, из чего я заключил, что Рене рисуется передо мной, поскольку обычно она не склонна ни к преувеличениям, ни тем более ко лжи. Примечательно, что о дядиной машине она не обмолвилась ни словом.

— Вы так чудесно рассказываете, что любой невольно проникнется симпатией к вашему дяде. Но должен признаться, сейчас мне любопытен не столько этот достойнейший человек, сколько вы сами. Видите ли, я твердо убежден, что где-то уже встречался с вами. Разрешите спросить: вы не были позавчера на коктейле у графини де Вальдуа?

С явным сожалением Рене ответила, что нет, не была, и по ее глазам я понял, что приключение захватило ее. Она далека от снобизма и не слишком романтична, но ценит респектабельность, солидные рекомендации. Завести любовника — значит утратить спокойствие и терзаться угрызаниями совести, так что если уж решаться на это, то он по крайней мере должен быть из приличного общества.

— Я упомянул об этом коктейле, потому что это мое первое появление в свете после возвращения в Париж. Только что я вернулся из путешествия по Афганистану.

Это путешествие, как я понял, еще более упрочило мое положение. Я принялся довольно рассеянно рассказывать об Афганистане, и вдруг меня словно бы осенило. Я вспомнил: мы встречались в лифте. Вот оно что: мы, оказывается,

соседи. От такого непредвиденного совпадения моя жена, судя по всему, несколько сконфузилась. Я тоже изобразил смущение, словно допустил бестактность, и несколько секунд протекли в молчании. Потом я возобновил разговор о позвоночных, рассказывая о мегатерии и прочих видах, вымерших от непонимания того, что будущее принадлежит всеядным. У меня создалось впечатление, что Рене больше смотрит на меня, нежели слушает. Ее серые глаза, обычно холодные и ясные, сейчас засверкали теплым и влажным блеском, какого я до сих пор никогда в них не замечал. В этом взгляде, задумчивом и пылком, читалась тревога тридцатичетырехлетней женщины, не уверенной, нравится ли она молодому красавчику. А ведь Рене была по-прежнему привлекательна. В двадцать лет ее тонкое лицо было слегка приторным, с годами же оно похорошело. Контурсы фигуры стали более четкими, известные округлости, ранее чуть заметные, достигли очаровательной зрелости. Чувствовалось, что ее внешний облик полностью гармонирует с ее внутренней сущностью. Гармонию дополнял и ее туалет, который отличался тщательно продуманной элегантностью, в нем не было ничего случайного, прихотливого. Вскоре к нам присоединился дядюшка Антонен с детьми. Казалось, он смирился с крушением своего плана и теперь с чрезмерным усердием толкал нас друг к другу.

— Вы по-прежнему о естественных науках? Эта тема меня чертовски интересуется. Надо вам сказать, я и сам отчасти натуралист. Вам уже говорила моя племянница?

— Дядя занимается животноводством,— сообщила Рене, воздерживаясь от уточнений.

— Я развожу свиней. У меня есть великолепные экземпляры. Надо будет как-нибудь на днях вам показать. Рене вас привезет, а еще лучше я заеду за всеми вами на машине. Идет, детка?

Вспыхнув, Рене принялась сурово выговаривать дяде за неуместное приглашение. Ей было явно неприятно представлять передо мной племянницей свиновода, и я испугался, что она мне этого не простит. Надо ее успокоить.

— Это ремесло я хорошо знаю: им занимался мой отец, и я иной раз жалею, что не пошел по его стопам. Но так или иначе, детские годы, проведенные среди животных, сыграли свою роль в том, что я стал натуралистом.

Импровизация удалась. К Рене тотчас возвращается хорошее настроение, и я читаю в ее глазах, что она восхищена непринужденностью и простотой, с какими обласканный графинями молодой ученый признается в своем более чем скромном происхождении. Теперь она, наверное, уже не станет краснеть за автомобиль дядюшки Антонена, который, судя по всему, ждет их на улице. Я вежливо уклоняюсь от приглашения посетить свиноферму в Шату — вернее, принимаю его для виду и тотчас перевожу разговор на другую тему. Расспрашиваю Рене о детях и забавляю ее, передав нашу беседу о молочной продуктивности мегатерия. Туанетта слушает меня с серьезным видом, и мне кажется, что она с опаской относится к моему вторжению в семейный круг. Дядюшка Антонен обволакивает нас с Рене умильным взглядом, полным тайного смысла, и видно, как ему не терпится ускорить развитие наших отношений. Время от времени, забываясь, он обращается ко мне на «ты» и всякий раз весело подмигивает изумленной Рене, давая понять, что считает меня в некотором роде уже членом семьи. Я теряюсь и не знаю, как на это реагировать. Люсьен спрашивает у меня, когда примерно мегатерий исчез с лица земли, и когда я поворачиваюсь к нему, чтобы ответить, то слышу шепот дядюшки Антонена: — Парень влюблен в тебя, это ясно как день. Втурился по уши.

Рене одергивает его, и хотя я почти ничего не слышу из ее слов, но у меня создается впечатление, что она не так уж сердится. Когда наши взгляды встречаются вновь, я вижу в ее глазах радостный огонек. Интересно, что она узрела в моих. Видимо полагая, что теперь нельзя терять ни минуты, дядя вносит предложение: он поведет детей пообедать и оставит нас наедине на час-другой, чтобы мы, дескать, смогли обменяться мнениями по поводу эволюции позвоночных. На сей раз Рене готова вспылить, и, чтобы

предотвратить это, я поспешно откланиваюсь. Прощаясь со мной, Рене снимает перчатку — верно, для того, чтобы дать мне полюбоваться своей узкой ладонью и изящными пальчиками, — и я чувствую, как ее теплая рука подрагивает в моей. Отойдя на десяток шагов, я оборачиваюсь. Она провожает меня взглядом и не пытается скрывать улыбку.

От нечего делать я зашел в кафе на бульваре Сен-Жермен. Было совершенно не на что употребить остаток дня, да, похоже, и жизни. От встречи с Рене почему-то остался неприятный осадок. Не то чтобы я ощутил такое уж сильное разочарование, почувствовав, что она готова мне изменить. Скорее наоборот — я страдал от того, что это мало меня огорчает. Но благодаря метаморфозе мне удалось заглянуть в самую сердцевину моей жизни, и стало жутко. Я увидел, что мое место под солнцем пусто, и не мог избавиться от ощущения, что оно пустовало, собственно, почти всегда. Там, где я не присутствую, так сказать, вживе, я не существую. Это очевидно. Больше того, я не был уверен, что реально существовал даже тогда, когда еще был самим собой. Лишь невероятная возможность узреть свою жизнь беспристрастным, отстраненным взглядом и как бы чужаком проникнуть в собственные тайны способна породить эти вздорные мысли. У тебя есть жена, дети, профессия, привычки — в общем, наполненный до краев, замкнутый, непроницаемый мир, в центре которого уютно свернулся ты сам, — и вдруг все это становится призрачным, обращается в ничто. Жена осталась, дети остались, но это уже не тот мир, который вращался вокруг тебя. Припомнилась мысль, которая неотвязно преследовала меня лет в девять-десять: будто мир только притворяется, что он есть, чтобы обмануть меня, а сумею я обернуться достаточно проворно — увижу позади зияющую пустоту. Я невольно обернулся, но, видимо, недостаточно быстро, так как обнаружил все те же зеркала, кресла, посетителей, а среди них Жюльена Готье — как он вошел, я не заметил. Впрочем, я не совсем случайно выбрал это кафе, которое было для Жюльена вторым домом. Еще в бытность нашу

клерками у нотариуса Жюльен снимал комнату в гостинице по соседству, а здесь сиживал долгими вечерами за чашечкой кофе со сливками и предавался мечтам об иной судьбе. Но и теперь, обосновавшись на фешенебельном Правом берегу, на Елисейских полях, он любит посидеть здесь в одиночестве, особенно когда надо что-то обдумать. Я смотрел на него так настойчиво, что в конце концов привлек его внимание, и по тому, как дрогнуло его лицо, понял, что он признал во мне странного субъекта, приставшего к нему вчера на Королевском мосту. Со вчерашнего дня я не раз задавался вопросом, стоит ли мне заговаривать с ним, если снова его встречу, и всякий раз решал избегать этого, но сейчас что-то толкнуло меня подняться из-за стола. Жюльен, не выказывая ни малейшего удивления, наблюдал за тем, как я направляюсь к нему.

— Мсье Жюльен Готье, — начал я, усаживаясь напротив него, — вы, должно быть, недоумеваете по поводу моего вчерашнего поведения, и я должен объясниться, но прежде хочу задать вам один вопрос. Скажите, не напоминает ли вам мой голос одного хорошо знакомого вам человека?

— Действительно, голос у вас в точности такой, как у одного моего друга. Я заметил это еще вчера.

— А не заметили ли вы еще и того, что у меня такая же фигура, как у этого вашего друга?

— Господи... да, примерно такая. Не такое уж, впрочем, редкое совпадение.

— А что вы скажете вот об этом шраме?

Я показал ему длинную и тонкую белую запятовую на своей левой ладони — след от раны, которую он нечаянно нанес мне пятнадцать лет тому назад, когда однажды, оставшись одни в конторе мэтра Лекорше, мы забавлялись тем, что с зонтиком в правой руке и перьевой ручкой в левой разыгрывали знаменитую дуэль Жарнака *. Этот

* Ги Шабо, граф де Жарнак (1509— после 1572) — французский капитан, известный тем, что в 1547 году победил на дуэли своего противника, нанеся ему неожиданный удар под колено. С тех пор выражение «удар Жарнака» стало синонимом нечестного, вероломного поступка.

эпизод я довольно часто напоминал Жюльену Готье, и он не хуже меня помнил форму шрама. Он скользнул по нему взглядом, и я почувствовал, что он настороже.

— Трудно поверить, чтобы обыкновенное перо оставило такую отметину,— сказал я,— если не видеть собственными глазами. Кровью забрызгало даже подлинник завещания на столе. Настоящий удар Жарнака, не правда ли?

На лице Жюльена появилось неподдельное любопытство и некоторое удивление, но не столь сильное, как я ожидал.

— Что вы хотите всем этим сказать? — спросил он.

Ответил я не сразу. Меня так и подмывало напомнить ему другие подробности времен нашего ученичества — такие, о которых никто, кроме нас двоих, знать не мог,— но я понимал, что достоверность абсурда все равно ничем не докажешь.

— То, что я хотел бы вам рассказать, настолько невероятно, что мне, видимо, лучше воздержаться. С другой стороны, надо же рассеять впечатление, оставшееся у вас после нашей вчерашней встречи на Королевском мосту. Хотя не только это побуждает меня к откровенности.

— Поступайте, как сочтете нужным,— довольно благожелательно ответил Жюльен.— Я не хочу быть нескромным, но, должен признаться, буду разочарован, если вы ничего не объясните.

Я все еще раздумывал, стоит ли открываться, но меня подтолкнул бес.

— В конце концов, я не многим рискую, поскольку ты и так считаешь, что имеешь дело с ненормальным. Жюльен, то, что я тебе сейчас скажу, абсурдно, чудовищно, но я твой друг Рауль Серюзье. Вчера, незадолго до того, как я встретил тебя, у меня поменялось лицо, а я даже не заметил, как это произошло.

Жюльен и бровью не повел — это меня встревожило. Я жалел, что не могу воротить сказанного.

— Все возможно,— вежливо произнес он.

— Да нет, кто же поверит в такое! Так что не говори: все, мол, возможно. Но хотя бы из милости попробуй

проверить мои слова, задавай любые, самые каверзные вопросы. Считай, что я одержим, но все же способен внять голосу рассудка. Кто знает, может, тебе удастся меня излечить, убедить меня, что я не Рауль Серюзье. Итак, что ты думаешь о моем голосе и о шраме?

— Разумеется, это любопытные совпадения,— ответил Жюльен, принявший мою игру с видимой неохотой.— Но это не доказательства.

— Действительно, доказательств тут быть не может. Минуту назад я собирался напомнить тебе вещи, известные только нам двоим, а потом подумал: зачем? Ты бы просто решил, что я хорошо осведомлен. Уверен, ты почти не удивишься, если я напомню тебе, как однажды вечером, здесь же, сидя вон за тем столиком, мы разыгрывали, кому достанется сигара, которую несколько часов назад стянули из портсигара папаши Лекорше. Стадил ее ты, пока я отвлекал внимание старикана, подсунув ему черновик ответа на письмо мамыши Франгоде, упрекавшей его в том, что в деле о наследстве Шеневьера он держит сторону ее кузена Метро. Мы положили сигару посередине стола на вечернюю газету и условились, что она достанется тому, кто угадает цвет подтяжек другого. Ты заявил, что у меня фиолетовые, а я — что у тебя белые. Выиграл я. Убедившись в том, что у меня подтяжки некрашенные, ты сказал мне: «Рауль, я тебя недооценил».

Жюльен кивал и смотрел на меня все внимательнее.

— Я готов продолжать в таком духе хоть до утра,— сказал я,— но, подозреваю, напрасно потеряю время. Серюзье мог рассказать любой из этих эпизодов кому угодно, причем в мельчайших подробностях.

— Согласитесь, в ваших устах эти воспоминания звучат странно. Даже если вам их действительно рассказал Серюзье, эта история не становится менее интересной.

— Было бы еще интересней,— азартно продолжал я,— послушать, как я буду отвечать на ваши вопросы. Положим, я еще мог бы в деталях заучить отдельные эпизоды из жизни Серюзье, но уж никак не всю его жизнь. Начнем?

— Ладно. Ну, например, однажды утром, в отсутствие мэтра Лекорше, я принимал одного нотариуса из Шато-Тьерри — забыл, как его звали...

— Как его звали? Не мэтр ли Буркен?

— Точно. Так вот, считая, что в кабинете я один, мой товарищ Серюзье вошел...

— Вошел, распевая: «Все вперед, все вперед!.. Вздернем нотариусов на фонарях» *. Бедный нотариус из Шато-Тьерри уронил с носа очки, а ты, разыгрывая праведный гнев, сказал мне: «Мсье Серюзье, дабы отбить у вас охоту к подобным выходкам, я попрошу мэтра Лекорше отклонить ваше прошение о прибавке жалованья».

— Все правильно,— пробормотал Жюльен.— Ну, а досье Торкайона? В нем была одна особенность...

— Да, в нем все страницы были залиты красными чернилами.

— Просто невероятно! Я считаю, продолжать не имеет смысла. Может быть, вы лучше расскажете, как обнаружили перемену в своей внешности?

Не заставляя себя упрашивать, я рассказал Жюльену об инциденте с фотографиями, о своих первых подозрениях, которые я старался в себе заглушить, пока не встретился с ним на Королевском мосту. Жюльен внимательно слушал и с не меньшим вниманием смотрел мне в глаза.

— Вот так я вдруг лишился собственной личности. И всех друзей, Жюльен. Я потому решил довериться тебе, попытаться тебя убедить, что мне необходим друг. Очутиться неожиданно-негаданно одному в целом мире, знать, что никто тебя не узнает,— это ужасно. Жюльен, я не могу и никогда не смогу представить тебе доказательств правдивости того, что я утверждаю, по крайней мере таких, которые бы тебя удовлетворили. Нужно, чтобы ты сделал шаг мне навстречу. Задай себе только простой вопрос: «А вдруг он говорит правду?» Умоляю тебя, подумай об этом. Представь себе хоть на мгновение старого друга, за-

* «Все вперед!» («*Ca ira*») — французская революционная песня (речь в ней идет об аристократах, а не о нотариусах).

мурованного в чужом облике. Жюльен, я помню, как однажды, в этом самом кафе, мы сидели и гадали, как бы освободиться от старого зануды Лекорше, и ты сказал мне: «Какое бы невероятное приключение со мной ни случилось в жизни, оно не возместит мне эти годы корпения над бумагами в унылой конторе нотариуса». Как видишь, невероятное приключение, которого ты тогда жаждал в качестве компенсации, произошло со мной. Неужели ты утратил способность поверить в него? Будь нам по двадцать пять лет, Жюльен, ты бы мне поверил. Поверил бы с первых же слов.

Голос у меня пресекся, и я почувствовал, что мое волнение передается и Жюльену.

— Действительно,— сказал он,— это можно было бы назвать невероятным приключением, но как я ни напрягаю воображение, дальше сослагательного наклонения дело не идет. Ничего не попишешь. Вы просите меня не просто уверовать, а перейти в иную веру, а большего не требует сам Господь Бог. Во всяком случае, бесспорно одно: вы глубоко несчастны, и я хотел бы вам помочь. Чем? Этот вопрос я задаю себе с самого начала нашего разговора. Вероятно, лучшее, что я могу сделать,— это прямо высказать вам все, что думаю. Раз уж вы решили довериться именно мне, мои доводы не будут вам безразличны.

— Увы, они мне известны. Это доводы любого здравомыслящего человека.

— Верно. Однако, боюсь, вы поспешили от них отмахнуться. Вот вы утверждаете, что вы Рауль Серюзье. Как вы признаёте и сами, вы не имеете никаких доказательств этого и опираетесь на презумпции, значение которых, однако, преувеличиваете. Для беспристрастного наблюдателя ясно одно: вас, видимо, ввело в заблуждение сходство вашего голоса с голосом Серюзье, а это случайность.

— А воспоминания? Такие точные — разве этого мало?

— Серюзье мог вести очень подробный дневник и дать его вам. Из-за схожести голосов вы заинтересовались этими страницами и в конце концов отождествили себя с

автором дневника — даже сделали себе похожий порез на ладони. А поскольку ваше лицо даже отдаленно не напоминает лицо Рауля, вы и придумали метаморфозу. Ваш случай, в сущности, не исключителен. Я думаю, это то, что врачи называют раздвоением личности.

— Вы советуете мне обратиться к врачу?

Жюльен помолчал. Потом потупился, а когда заговорил, в его голосе зазвучала какая-то настороженность:

— Мне кажется, есть вариант и получше. Если вы окажетесь лицом к лицу с настоящим Серюзье, то, думаю, излечитесь. Хотите, мы с ним встретимся? Сейчас же и позвоним ему.

— Бесплезно. Вам скажут, что он уехал в Бухарест.

— И все-таки пойдемте, там будет видно.

Тон стал повелительным. Я вдруг осознал, что Жюльен подозревает меня в том, что я убил его друга,— это и впрямь совершенно логично, будь я одержим манией, какую он мне приписывает. Поднялись мы одновременно. Он жестом указал мне дорогу и пропустил меня вперед. Пока мы спускались в подвал, где стоит телефон, я думал о том, что забыл продемонстрировать образец своего почерка, но теперь уж это было ни к чему. Я только усугубил бы свое положение. Жюльен затолкал меня в кабину и дал мне отводной наушник.

— Господин Серюзье вчера вечером улетел в Бухарест,— сообщил голос Люсьены.

— Но как раз на вчерашний вечер у нас с ним была назначена встреча,— настаивал Жюльен.— Как это он не поручил вам предупредить меня о своем отъезде? Когда вы его видели?

— Он ушел из кабинета в половине пятого.

— Так. А надолго он уехал?

— Недели на две, может быть, на три.

— Когда он вернется, будьте любезны передать ему, чтобы он тотчас же дал мне знать. У меня есть для него чрезвычайно важное сообщение. Благодарю вас.

У Жюльена явно отлегло от сердца. Он повесил труб-

ку и, выйдя из кабины, сказал мне:

— Надеюсь, вы не станете обвинять меня в сговоре с секретаршей Рауля. Итак, вы сами слышали, что вчера в половине пятого, то есть более чем через час после нашей с вами встречи на Королевском мосту, мой друг Серюрье еще был у себя в кабинете. Делайте выводы.

Я мог бы объяснить ему, как разыграл целый спектакль и обманул секретаршу, но, обрадовавшись, что с меня снято подозрение в убийстве, решил притвориться смущенным и посрамленным. У Жюльена хватило великодушия не добивать меня, и он ограничился корректным предупреждением, что в случае, если я не образумлюсь, он без промедления расскажет своему другу Серюрье о моих притязаниях. Перед тем как расстаться с ним, я постарался закрепить его впечатление, что он имел дело с безобидным маньяком, свихнувшимся от чрезмерного увлечения романами и наркотиками. Кажется, мне это удалось.

Два часа я бродил по Парижу и наконец в полном изнеможении зашел в кафе Маньера, надеясь встретить там Сарацинку, но мои ожидания оказались напрасными. Поужинав в одиночестве, я вернулся к себе и, едва коснувшись головой подушки, заснул. В кошмарном сне я пытался убедить жену, что я — это кузен Эктор, и уже почти убедил, как вдруг Жюльен на пару с Сарацинкой уличили меня в том, что у меня голос дядюшки Антонена и почерк мегатерия.

VIII

Наутро я отправился на поезде в Шату, намереваясь навсегда поселиться у дядюшки Антонена. Невыносимо было представить себе, как я буду жить в Париже в полном одиночестве, беспрестанно перебирая тускнеющие воспоминания и думая о том, как бы получше припрятать собствен-

ный труп. Сойдя с поезда около девяти часов, я пешком одолел три километра, отделяющих свиноферму от вокзала Шату. Дядя встретил меня с ликованием. Я застал его за перекрашиванием фургончика для доставки продуктов, где после своей фамилии он вывел: «Свинство на любой вкус». Эта шуточка пришла ему в голову ночью и теперь приводила его в ребяческий восторг. Выяснилось, что ему очень многое надо мне рассказать, и прежде всего — что Рене влюбилась в меня без памяти. После моего ухода она накинулась на него, упрекая в том, что он обратил меня в бегство, и все тревожилась, что же я после этого подумаю о ней и ее родственниках. Наконец — и это он счел самым красноречивым признаком, — племянница отказалась прокатиться по Монмартру на его машине и даже допустила при этом в ее адрес весьма нелестные выражения.

— Это еще не доказательство, дядя. К тому же должен сообщить вам, что я раздумал и не стану обольщать Рене. Измена мне противна, об этом и подумать-то страшно. Может, и заманчиво подглядывать в душу жены через замочную скважину, но не думаю, чтобы от этого можно было ожидать чего-то хорошего. Хватит с меня и того, что я уже успел узнать о Рене. Основа семейного счастья — обоюдная слепота и молчаливый уговор узнавать друг о друге как можно меньше. Супруги — как рельсы: всегда рядом, но на строго определенном расстоянии, если же когда-нибудь они соединятся, семейный поезд неминуемо потерпит крушение. Зачем мне, по-вашему, обольщать Рене? Чтобы убедиться в том, что любовнику женщина говорит не то, что мужу, что с ним вообще все по-другому? Я и так уже об этом догадываюсь, но предпочитаю подольше оставаться в неведении.

— Жаль, — протянул дядя. — А я-то задумал чудненький план, как сделать вас счастливыми. Еще несколько дней — и ты стал бы спать со своей женой, а недельки через две я устроил бы Раулю аккуратненькое самоубийство. Поутру на берегу Сены нашли бы его шляпу и пальто с письмом в кармане. И вот, пожалуйста, — безутешная вдова

с двумя детьми на руках. Тут ты, благородная душа, узнаешь о случившемся, являешься и говоришь: дорогая, вот вам моя рука и мое состояние.

— Спасибо, я не люблю вдов.

— Я дал бы Рене приданое и забрал бы к себе детей на время вашего свадебного путешествия.

— Самоубийство Рауля Серюэе уже невозможно, это могло бы навлечь на меня крупные неприятности. Вчера, после того как расстался с вами, я сваял большого дурака, и теперь придется вести себя крайне осторожно.

Я пересказал дяде вчерашнюю беседу с Жюльеном Готье. Сначала, возмущенный до глубины души, он пожалел, что я не отвесил пару оплеух этому никудышному другу. Но потом принялся с любопытством меня разглядывать, поигрывая кончиком уса и щекоча им себе в ухе.

— А вообще-то,— вдруг сказал он,— может быть, он и прав, и ты вовсе не Рауль.

Я почувствовал, что бледнею, сердце у меня сжалось.

— Впрочем,— продолжал дядя,— это неважно. Ты искренен, и этого достаточно. Ну ладно, ладно, это я просто так говорю, на самом деле я совершенно уверен, что ты Рауль. А насчет Рене ты еще подумай. Молодая женщина, которую муж оставил одну, сам понимаешь... Нет-нет, я уверен в Рене, но если уж суждено случиться худшему, лучше устроить так, чтобы потом не кусать себе локти.

Дядя снова взялся за кисть и перевел разговор на другое, но эти его слова произвели на меня сильное впечатление. На следующее утро я вернулся в Париж. День, проведенный в Шату, явно пошел мне на пользу. Там я сбросил с себя тягостное одиночество, вдвойне мучительное из-за того, что семейный очаг, где все знакомо до мелочей, так близок. А главное, меня утешала легкость, с какой дядя воспринимал случившееся со мною. Послушать его, так начинаешь думать, что это и впрямь не более чем досадное происшествие и все скоро как-нибудь утрясется. Первое, что я сделал по возвращении,— позвонил Люсье-

не и сообщил ей фамилию наметившегося клиента. Выполнив эту формальность, я отправился в Клиши к одному промышленнику, которого еще раньше собирался навестить. Я провел в его кабинете целый час и остался весьма доволен — наклеивалось крупное дело. Затем я посетил еще одну фирму, расположенную поблизости, но там получил довольно уклончивый ответ. Эти два визита задержали меня в Клиши до часу пополудни, и до самого вечера мои мысли были заняты ими. За делами я совсем забыл и о Рене, и о Сарацинке. Все, над чем я ломал себе голову, как-то само собой прояснилось. Всякую проблему, даже любовную, легче решить, когда занимаешься делом. Когда человек работает, он не замыкается в себе, его размышления сопрягаются с реальными предметами и событиями. Хорошо работать — значит хорошо жить. Неужели нужно было претерпеть подобную метаморфозу, чтобы понять эту нехитрую мудрость? Назавтра и в последующие дни я с головой ушел в работу, вооружившись тем терпеливым упорством, благодаря которому оставался на плаву в годы самых жестоких кризисов. Этот кропотливый, нередко неблагодарный труд, в котором мне не мог помочь авторитет Рауля Серюзье, вернул мне если не оптимизм, то во всяком случае спокойствие. Событие, перевернувшее всю мою жизнь, не перестало занимать мои мысли, но вызывало меньше эмоций. Практические, сиюминутные дела заслонили от меня трагедию, отодвинули ее на задний план. Я больше не колебался и твердо решил сделать Рене своей любовницей, а если удастся, то и женой: как же иначе, ведь я продолжаю работать для нее и для детей, а значит, воссоздать порвавшиеся узы — дело естественное и даже необходимое.

За эти несколько дней я часто встречал ее на улице Коленкура и всякий раз у самого дома. Я молча кланялся, но во взгляд вкладывал сколько мог страсти и томления. Она не могла не оценить мою сдержанность, но, как выяснилось впоследствии, втайне досадовала.

Как-то вечером, узнав от дюдюшки Антонена, что Рене

собралась заглянуть в один магазинчик близ площади Мадлен, я подкараулил ее у выхода. Она приветливо улыбнулась мне и подала руку смущенно, но явно с радостью. Чтобы Рене, обычно суховатая и сдержанная, пришла в такое смятение от неожиданной встречи — это было трогательно. Сам я был не слишком взволнован, скорее бесстрастен. Я управлял Рене, как марионеткой, стремясь вернуть принадлежащее мне по праву, и делал это совершенно хладнокровно. Уже не думая о нелепости ухаживания за собственной женой, я включил его в свою программу и просто-напросто улаживал эту небольшую личную проблему в промежутке между двумя деловыми встречами. Не теряя времени даром, я сразу же, едва мы обменялись обычными формулами вежливости, поведал Рене о своей любви, сказал, что это чувство серьезное, прочное, которому отныне будет подчинена вся моя холостяцкая жизнь. Я просил прощения за то, что мог предложить ей только тайную любовь, — не в моей власти было сделать союз наших сердец явным. Судьба, увы, свела нас слишком поздно. Рене, ошеломленная, с пылающими щеками, смотрела на меня, веря и не веря; она упивалась моими словами, но вслух согласия не давала.

— Я никогда не лгала, — защищалась она. — Для меня было бы мукой что-то утаивать. Я бы не смогла спокойно общаться с детьми, бывать на людях.

— Я понимаю. Да, я требую слишком многого и сознаю это даже яснее, чем вы сами. Конечно, вам нужно все обдумать. Только не спешите с ответом. Повремените несколько дней. А я буду с наслаждением думать, что хотя бы на эти дни отдаю свою жизнь в ваши руки.

Рене многозначительно промолчала, и мы расстались. Я провожал взглядом ее хрупкую фигурку, пока она не потерялась в толпе. И с невольным стыдом подумал, что игра идет не на равных. Рене была в упоении. Я же корил себя за то, что так и не смог разбудить свой пыл. Воображение супруга, увы, не так легко воспламеняется. Да и последние события, видимо, притупили мою восприимчи-

вость к неожиданностям и щекотливым ситуациям. Как ни грустно признаться в этом, мне казалось, что я отвоевываю свои домашние шлепанцы. Увы, романтике здесь места не было. А ведь для того, чтобы мои замыслы увенчались успехом, мне было очень важно оказаться безупречным влюбленным и уж по меньшей мере не разочаровывать Рене.

Я приобрел несколько гашеных румынских марок, особую почтовую бумагу, баночку клея и еще кое-какие орудия фальсификации. Я собирался сфабриковать для Рене письмо из Румынии и незаметно для консьержки подсунуть его в завтрашнюю почту. В тот же вечер, вернувшись из ресторана, где Сарацинка опять так и не появилась, я принялся за дело. Изготовить конверт оказалось довольно легко. Гораздо труднее было написать такое письмо, которое, не возбуждая в Рене ревности, вместе с тем упоминало бы о моем веселом времяпрепровождении, вечеринках и шумных застольях — так, чтобы его неприкрытая вульгарность побудила ее к сравнениям, отнюдь не выгодным для отсутствующего супруга. Вот отрывок из этого послания:

«К полуночи мы все уже изрядно наклюкались. Папаше Брауну приспичило во что бы то ни стало нарисовать на задку одной толстухи колокольню. Никогда еще я так не смеялся. Похоже, и я куролесил, но, признаться, помню все весьма смутно. Ты можешь подумать, что я веду разгульный образ жизни,— это не так. Дело не заходит дальше тех невинных шалостей, которые я тебе описал. Согласись, дорогая моя, мы подходим к возрасту, когда уже можно доверять друг другу при любых обстоятельствах».

Четыре дня спустя, в понедельник, я оказался с Рене в лифте. Мы были одни, и я решил. Понедельник — самый подходящий день для таких вещей: унылые воскресенья в одиночестве ничуть не способствуют укреплению супружеской добродетели. Рене не обратила внимания на то, что я нажал кнопку шестого этажа. Лифт пошел вверх, и я сказал ей: «Рене, сердце мое разрывается, я невы-

носимо страдаю, ах, Боже мой, Рене, я не в силах более ждать вашего решения, от которого зависит моя жизнь или смерть». Эту хорошо отрепетированную за три дня тираду я произнес хриплым голосом. Не следует бояться театральности, решил я, нужно, чтобы все это как можно меньше походило на сдержанные полупризнания, которые Рене слышала от меня во времена нашей помолвки,— тогда я видел в такой манере особую изысканность. Она схватила меня за руку и с жаром стиснула, повторяя мое имя. И тут произошло нечто совершенно непредвиденное. Ее согласие, которого я ждал, на которое надеялся, повергло меня в ярость и тоску. Меня захлестнуло ревнивое негодование: о, недостойная супруга! Я схватил ее за плечи, больно сжал и простонал: «Рене, Рене, это невозможно». Она приписала мое восклицание совсем другому чувству. Лифт остановился. Я вышел вслед за Рене на площадку и открыл дверь в свою квартиру. Рене не сразу поняла, что очутилась на моем этаже, а поняв, испугалась, вскрикнула и попятилась. «Кто-нибудь может вас увидеть,— шепнул я,— входите же скорее». Это положило конец ее колебаниям. В прихожей царил полумрак, и я плохо видел лицо Рене — она стояла спиной к свету. Это было к лучшему — ведь если бы я узрел на нем нежность, то мог бы осыпать ее оскорблениями и вообще натворить Бог знает что. Она сняла шляпку и бросила ее на столик — в этом движении было столько пленительной решимости, что я едва не закричал от боли. Обвив руками мою шею и прикинув к моему плечу, она все повторяла: «Любовь моя, любовь моя». Я еле удерживался от злобной усмешки. Так и подмывало вlepить ей пощечину, но все-таки я подчинился правилам игры. Я прижимал Рене к себе с яростью, которая вполне могла сойти за страсть и отчасти ею и была. Я молчал, что тоже было вполне уместно. Уткнувшись в волосы жены, я созерцал круглую ручку двери в уборную. Все-таки это ужасно, думал я. Ведь я всегда слепо верил ей. Только что не молился на нее. Когда я изменял ей, что случалось чрезвы-

чайно редко, угрызания совести не давали мне спать, а тут стоило первому попавшемуся хлюсту, с которым она в общей сложности не провела и часа, поманить ее — и вот она уже висит у него на шее и лепечет: «Любовь моя».

Однако нужно было действовать дальше. Не торчать же до бесконечности в прихожей. Я увлек Рене в гостиную и усадил на диван, над которым красовались сочинения отца Массийона в сафьяновых переплетах. «Как у вас мило». В ответ я буркнул что-то невнятное. Но вскоре перестал чувствовать себя разгневанным мужем. Никогда еще Рене не выглядела такой соблазнительной, даже тогда, когда я за ней ухаживал. Я пытался убедить себя, что просто не умел на нее смотреть. Верный и почтительный супруг, я вполне довольствовался уютным «домашним» образом жены, а он заслонял от меня ее подлинную красоту. Так часто бывает, когда долго живешь с человеком. Но в этот вечер Рене и в самом деле была другой женщиной, ее лицо преобразилось до такой степени, что мне казалось, будто оно впервые ожило, как у статуи, в которую вдохнули жизнь. Оно заиграло новыми красками, как будто в нем проглянула ее сокровенная сущность, доселе неведомая мне, а может, и ей самой. Ее глаза, обычно прозрачные и холодные, как ключевая вода, — «змеиные», в шутку говаривал тесть, — сейчас лучились волшебной мягкостью. Изменился даже ее голос. Я с трепетом склонился над ней, чувствуя, что благодаря переполнявшему ее счастьем и мне предстоит испытать неизведанное блаженство. Помимо воли я был ослеплен, околдован этой пылкой нежностью. Я-то думал, что завлек ее, а между тем попался сам. Во мне не просто вспыхнуло с новой силой бывшее чувство — нет, то была иная любовь, где все было внове, и я усомнился, любил ли я вообще когда-нибудь Рене. Серьезное и спокойное чувство, которое я питал к ней до сих пор, казалось мне теперь куцом и убогим, почти смехотворным; я чуть ли не стыдился его. Благословенно будь мое превращение, подумалось мне,

возможно, оно еще только началось, а уже как далеко зашло.

Наша одежда вперемешку валялась на стуле. Рене открыла глаза, румянец постепенно возвращался на ее побледневшие щеки. Я же прислушивался к охватившему меня блаженству и боялся только, как бы оно не улетучилось из моего обессиленного тела. Но оно длилось, и это было еще одним чудом. Рене посмотрела на меня долгим взглядом, серьезным и почти строгим. Потом, снова закрыв глаза, приблизила губы к моему уху и прошептала:

— Ролан, я ничего не знала. Ничего не знала о любви. Правда. О! Ничего, ничего, ничего.

— Не может быть,— с горечью пробормотал я.

— Ролан,— все так же еле слышно продолжала она,— я хочу, чтобы вы знали, почему сейчас я люблю вас в сто раз сильнее, чем до того, как вошла сюда. То, что называют любовью, для меня всегда было всего лишь постылой обязанностью.

— Рене, не говорите так. Это ужасно.

— Нет, это прекрасно. Если б вы знали. Когда-нибудь я вам расскажу...

Впервые за все то время, что я жил в этой квартире, раздался телефонный звонок. Мой номер был известен только дядюшке Антонену. Аппарат стоял в соседней комнате, но стена была тонкая. Я не двинулся с места, и это удивило Рене.

— А вдруг это по важному делу? Подите снимите трубку, прошу вас.

Я нехотя подчинился, но нарочно не спешил, надеясь, что дяде надоест. Но я заблуждался. В этот вечер он ждал бы ответа до скончания века.

— Это ты, Рауль? То есть это ты, Гонтран? Говорит твой старый дядюшка. Ты не подавал признаков жизни с тех пор, как уехал из Шату. Я начал волноваться.

— Вы же знаете, я очень занят. Мой труд о позвоночных отнимает у меня массу времени.

— Что? Ах да, позвоночные.— Дядя разразился смехом.— Ну ладно, я тебя наконец застал, и хорошо. Слушай, малыш, я так рад, и ты сейчас тоже обрадуешься. Вообрази, утром мне пришла в голову блестящая мысль. И главное, все отменяется. Тебе больше нет нужды обольщать бедняжку Рене.

— Мы поговорим об этом в другой раз. Сейчас меня больше всего занимает приспособляемость к среде обитания у некоторых позвоночных, чей тип сформировался уже давно, в частности, у лемурув и непарнокопытных. Понимаете?

— Что ты городишь? Почему ты все время твердишь мне о позвоночных?

— Потому что так надо. Возьмите хотя бы приматов или полорогих. Вы без труда обнаружите у них автоматизм торможения.

— Боже мой! — воскликнул дядюшка Антонен и понизил голос: — Она у тебя, верно? Она у тебя? Ну вот, в который уже раз ты путаешь мне все карты. Все пошло прахом. Я позвонил слишком поздно, да?

— Увы, да, слишком поздно.

— Это низко, Рауль, то, что ты сделал. Бедная малышка. Может быть, мне завтра ее навестить?

— Нет-нет, это излишне. Я поразмыслю над вашими замечаниями. Всего хорошего, сударь.

Повесив трубку, я с минуту разглядываю себя в зеркале, висящем на стене над аппаратом. Всматриваюсь в свои красивые глаза — это из-за них столь разительно переменялась Рене, вдруг воспылав ко мне неистовой страстью. Всего лишь другое лицо, маска. Неужто любовь так поверхностна, капризна, или же лицо играет какую-то особую роль? Быть может, Рене в конце концов распознает под внешностью красавчика прежнего человека, и вскоре у нее останется к нему та же ровная привязанность, с которой она прожила все тринадцать лет замужества. Но что-то мешает мне в это поверить. Как бы то ни было, если даже иллюзия развеется, ей будет что вспомнить.

Но главное, я чувствую, что, помимо внешности, она открыла во мне неизведанные области, куда я и сам еще не вторгался: новые и, пожалуй, более изощренные чувствительность и ум. Только что, рядом с Рене, я убедился, сколь глубоки происшедшие со мной изменения. Так ли уж это удивительно? Я вновь размышляю о том, что занимало меня несколько дней назад, — о связи между лицом и внутренней сущностью человека, о влиянии одного на другое. Если я ощущаю эту связь, то почему бы ее не уловить и другим? Недаром же говорят, что лицо — зеркало души, просто у каждого человека оно обладает своим показателем преломления. Солнце тоже греет и освещает нас по-разному в зависимости от того, какое сейчас небо — ясное ли, затянуто ли тучами, скрыто ли туманом. Так и душа — уловить в ней можно лишь то, что открыто взору.

В зеркале я увидел, как дверь приоткрылась и в нее бочком протиснулась Рене в накинутом на плечи манти. «Вас что-то встревожило?» — спросил я. Она кивнула.

— Я перестала слышать ваш голос. Испугалась. На меня напала дрожь. Вначале я подумала, что это глупо, ведь по телефону вы говорили о позвоночных. Но потом в голову полезли всякие мысли. Мне представилось, что вы подперли голову рукой и думаете, думаете. Что вы делаете, Ролан?

— Смотрюсь в зеркало. Мне хотелось бы увидеть себя таким, каким меня видите вы.

— Не получится. Я вижу то, что скрыто в самой глубине ваших глаз.

IX

Даже знай я наверняка, что Рене поверит мне на слово, я бы ни за что не рассказал ей о своем превращении. Как-то

вечером, когда мы с дядюшкой Антоненом сидели в кафе на проспекте Ваграма, он сказал мне: — Теперь, когда Рене влюблена в тебя по уши, ты можешь заставить ее поверить во что угодно. Почему бы тебе не сказать ей всю правду?

Я покачал головой. И даже вспыхнул.

— Насколько бы все стало проще,— заметил дядюшка Антонен.— Вместо того чтобы морочить друг другу голову, вы могли бы договориться и, возможно, что-нибудь придумать, чтобы снова жить вместе. А? Почему бы ей все не сказать?

— Никогда! — гневно вскричал я. Дядя с удивлением и любопытством воззрился на меня.

— Понимаю,— произнес он с лукавой улыбкой.— Утехи любовников слаще супружеских.

— Да нет же, дело совсем не в том. Уверяю вас, я и сам больше всего хочу опять жить с семьей.

Я не солгал, но и не довел свою мысль до конца. Дядя ждал продолжения. Однако я уклонился от прямого ответа, пробормотав, что Рене, дескать, все равно не поверит в мою метаморфозу. Я, конечно, мог бы сказать дяде правду, но пришлось бы касаться вещей сугубо личных, а от этого меня удерживало какое-то целомудрие. Да и вряд ли он понял бы, что меня пугает сама мысль о том, что я могу вновь стать Раулем Серюзье. И уж совсем трудно было бы втолковать ему, что мое превращение с каждым днем становится все глубже, что я — уже другой человек.

Конечно, неверно было бы утверждать, что я полностью переродился. Мое восприятие окружающего, мой образ мыслей не то чтобы изменились, но я замечаю, что вчерашние, привычные реакции сопровождаются, как бы дублируются новыми. Обычно они мимолетны — словно набегает легкое облачко,— но иной раз властно заявляют о себе. Они возникают и исчезают так быстро, что я не успеваю толком их отметить. Перемены становятся очевидны, когда я принимаюсь анализировать одну из черт своего характера — например, чувство долга, некогда незыблемое, как

скала. Оно еще при мне, но насколько же оно стало податливей, уступчивей, привередливей — одним словом, оно пошатнулось, в чем я убеждался неоднократно. Впрочем, допускаю, что многие из этих трудноуловимых изменений — кажущиеся. Но бывают бесспорные факты, которые никак нельзя свалить на игру воображения, — когда я ловлю себя на том, что новое чувство, впечатление, словечко доставляют мне вдруг физическое наслаждение или, наоборот, страдание. В этих наблюдениях над собой мне частенько помогает, сама того не ведая, Рене.

Некоторые изменения я, оставаясь в глубине души прежним, не могу не осудить. К примеру, теперь у меня прибавилось вкуса к жизненным наслаждениям, зато убавилось стойкости к невзгодам.

Но я ни о чем не жалею — напротив, с нетерпением жду, чтобы моя душа пришла наконец в полное согласие с новым лицом.

С тех пор как ко мне стала приходиться Рене, я отдаю ей всю вторую половину дня, жертвуя рабочим временем. И совесть ни разу не мучила меня, не то что раньше, когда я изредка позволял себе отвлечься от работы. Моя совесть труженика вообще стала на удивление спокойной, не слишком тревожит ее и ответственность за семью. Я научился легко отрешаться от забот. Они не преследуют меня, как прежде, денно и нощно. Зато появились новые, более эгоистичные: поглубже изучить самого себя, выжать из жизни все, что она в состоянии мне дать, постоянно поддерживать в себе этот огонек неприкаянности, обостряющий чувства. К Рене я воспылал такой пламенной страстью, какой никогда ни к кому не испытывал. Иногда я даже мечтаю, чтобы мне выпал случай отдать ради нее жизнь. И вместе с тем я чувствую, что наша любовь — лишь краткий миг, что это счастье недолговечно. В глубине души я все время помню, что ей уже тридцать четыре. Иногда, даже рядом с ней, я представляю себе, какую боль мне суждено причинить ей в недалеком будущем, и оттого люблю ее еще сильнее, но знаю: ни помешать развязке, ни даже отсрочить

ее не в моих силах. Я уже вижу, как моя жизнь продолжается в кипении страстей, ее же — погружается в скорбные сумерки. Есть еще дети. Их я не стал любить меньше, но постепенно привыкаю к мысли, что мне суждено быть с ними врозь. То, что прежде составляло смысл моей жизни, теперь отодвинулось на задний план. Я стремлюсь сбросить с себя все оковы, которые раньше носил чуть ли не с радостью.

В работе я добился вполне приличных результатов, хотя уделяю ей не так уж много времени. При меньших возможностях успех оказался едва ли не бóльшим. За десять дней я начал проворачивать сразу несколько сделок, три из которых уже близки к завершению, и заключил один крупный контракт. Лучшего я не добивался даже в былые времена, когда работал упорней и в более благоприятных условиях. И этот успех нельзя объяснить ни обострившимся деловым нюхом, ни чрезмерной сговорчивостью клиентов. Вообще говоря, в моей профессии красноречие погоду не делает — расхваливать товар вовсе не требуется. Достаточно назвать цену и представить точные данные. Обычно я затевал дело, только заручившись солидными рекомендациями, которые придавали мне уверенность в разговоре, — это было как бы наступление с заранее подготовленных позиций. Теперь мне не на кого ссылаться — я могу лишь обмолвиться, что веду дела с таким-то. Секрет, по-видимому, в том, что у людей появляется ко мне интерес, причем сам я не прилагаю для этого никаких усилий. Меня не хотят отпускать, приглашают отобедать или зайти еще.

И все благодаря моей внешности — она позволяет мне чувствовать себя раскованно, не то что прежде. Но главное, думается, в том, что люди чувствуют: я сам себе интересен.

Вчера утром я отправился в свое агентство, чтобы отчитаться о заключенной накануне сделке. Я не видел Люсьену с того самого дня, как закатил истерику. Она удивилась, похоже, не столько моему появлению, сколько происшедшей

во мне разительной перемене. Незадолго до своего прихода я позвонил ей якобы из Бухареста и поинтересовался, что она думает о моем друге Ролане Сореле. Люсьена говорила о нем с теплотой и участием. Пожалев, что он так больше и не приходил, она прибавила, что беспокоится о нем, и в ее голосе зазвучали чуть ли не материнские нотки. Бедняга, по ее словам, не способен постоять за себя в столь трудной ситуации. Он не сумеет преуспеть на избранном им поприще. Ей хотелось бы еще раз встретиться с ним и помочь ему найти другое занятие, более подходящее.

Когда я вошел в кабинет, она, должно быть, с первого взгляда поняла, что жалела меня совершенно напрасно. На мне был новый, с иголочки, дорогой костюм великолепного покроя. И вдобавок я явился с сообщением о том, что вопреки ее предсказаниям сумел заключить сделку. Чтобы не лишиться ее расположения, я преподнес все так, будто своим успехом обязан прежде всего ей:

— Мне неслыханно повезло, но я вряд ли сумел бы воспользоваться этим, если б меня не поддерживала мысль о том, как сердечно и великодушно вы ко мне отнеслись.

— Не совсем так,— заметила Люсьена.— Если бы я сердечно отнеслась к вам с самого начала нашего разговора, то вы могли бы приступить к работе с массой сведений, которые облегчили бы вам задачу. Кстати, я собиралась их вам сообщить, но у меня нет вашего адреса.

— Это верно, я не оставил его. Но что касается этих сведений, то, поверьте, они помогли бы мне не больше, чем мое стремление оправдать ваше доверие. Если б вы знали, как я жаждал подняться в ваших глазах, заставить вас забыть о той нелепой и жалкой сцене, которую разыграл перед вами.

Люсьена принялась возражать, тронутая моим смирением и явно польщенная тем, что я так дорожу ее мнением. Здесь бы мне и поставить точку, но я перестарался. Невольно потакая ее потребности сочувствовать и опекать,

я пространно говорил о бесхарактерности и неуверенности в себе, которые, дескать, свойственны моей натуре.

Я так беззастенчиво выворачивал душу наизнанку, так назойливо каялся в своих слабостях и так любовался при этом собственной персоной, что, видимо, несколько шокировал Люсьену. Но я понял это только после того, как уже распрощался с нею. Вспоминая все, что наговорил — а я был не в меру болтлив,— я убеждался в том, что это звучало фальшиво, неискренне, походило на безвкусную исповедь из какого-нибудь нудного романа или, того хуже, на жалобное нытье нищего. На душе было муторно и беспокойно. Все-таки раньше я был лучшего о себе мнения. Виноват Рауль Серюзье — не иначе как он снова проснулся во мне. А что, если все эти пресловутые внутренние изменения, которые я в себе обнаружил, не более чем самообман, которым я обязан Рене? Что, если я всего лишь доверчивый любовник, который принял за чистую монету то, что внушила ему влюбленная в него, но цепкая и решительная женщина?

На платформе станции метро, куда я забрел в задумчивости, я увидел весы с зеркалом и долго созерцал свое лицо. Мне показалось, что мои опасения, увы, не напрасны. Такие глаза с поволокой мне доводилось встречать у некоторых мужчин, которые стремятся во что бы то ни стало нравиться и готовы ради этого на любые ухищрения и ложь. Один поезд я пропустил. Стоявшие поблизости пассажиры дивились при виде человека, которого так интересуется собственная персона. Я встретил в зеркале пристальный взгляд служащего метро и, чтобы оправдать свое стояние на весах,— не хватало еще, чтобы он сделал мне замечание,— опустил в щель пять су. Благодаря этому я убедился, что похудел килограммов на семь. Подошел следующий поезд. Войдя в вагон, я вспомнил о потерянных килограммах и впервые заподозрил, что у меня изменилось не только лицо, но и все остальное: руки, ноги, сердце, легкие, мозг, нервная система, так что от Рауля Серюзье не осталось ничего, кроме иллюзии, будто

я еще продолжаю им быть.

Я посмотрел на свои руки. Они, похоже, не изменились. Такие же широкие, с короткими пальцами. На левой сохранился шрам, который я демонстрировал Жюльену Готье. Но одного этого доказательства мне уже было мало, и, наспех пообедав, я бросился домой. В зеркале я увидел, что талия и плечи стали уже, но раз я похудел на семь кило, в этом не было ничего удивительного. Мне не приходилось с таким вниманием разглядывать себя в зеркале, посмотришь иной раз мельком, да и все. Тем не менее я припоминал, что раньше около пупка у меня как будто была родинка, теперь же она исчезла. Впрочем, я мог и ошибаться. Может, я спутал свой пупок с пупком какого-нибудь приятеля или родственника. Когда сомнение остается, как-то легче на душе — можно маневрировать, отождествлять себя то с одним, то с другим человеком, смотря по обстоятельствам. Я все еще размышлял над этим, когда ко мне пришла Рене — она уже отправила детей в школу. На ней было элегантное новое платье, и я невольно отметил про себя, что обошлось оно, видно, недешево. Вслух же я похвалил ее вкус. Она улыбнулась, но улыбка вышла жалкой.

— Я так хочу быть красивой. Я боюсь, уже боюсь. Мне кажется, вы здесь как бы проездом, здесь у вас только временное пристанище. Мне чудится в вас какая-то неопределенность, неуверенность во всем и в самом себе. Может, я ошибаюсь?

— Ну конечно, Рене, вы ошибаетесь. Я так постоянен в привычках и чувствах, так тяжел на подъем, что порой самому стыдно. Разумеется, с тех пор, как я познакомился с вами, я изменился, и это сказалось на всем моем образе жизни. Действительно, во мне появилось даже какое-то беспокойство, но оно сродни вашему. Я тоже боюсь. Мне все кажется, что я в вашей жизни лишь...

Рене не дала мне договорить. «О-о, нет, нет, нет!» — воскликнула она и горько разрыдалась. «Дорогая, не нужно плакать», — твердил я. Ее слезы текли по моим щекам, по

моим рукам. Я был потрясен ее страданиями. «Милая моя девочка, цыпленочек», — шептал я ей на ухо.

— Ролан, простите меня, я чувствовала себя несчастной. Уже с прошлой ночи. Я звонила вам, Ролан, простите меня за это, а вас не было.

— Так это были вы? Дважды, правильно? В первый раз я подумал, что мне это приснилось. Во второй — еле проснулся и слишком поздно подошел к телефону. Господи, если б я знал! Ну конечно же, я должен был, должен был сообразить!

— Не подумайте только, что я звонила, чтобы проверить, дома ли вы в час ночи. Клянусь, не поэтому. Мне было тоскливо, мне нужно было услышать ваш голос. О Ролан, я хотела услышать, как вы произносите мое имя. Все утро я еле сдерживалась, чтобы не разреветься, а тут еще это письмо...

— Письмо? Вы меня пугаете.

— Да нет же, не волнуйтесь, ничего особенного. Письмо из Бухареста, совершенно пустое, четыре ничтожных, ничего не значащих странички, но мне вдруг стало не по себе, я почувствовала какую-то угрозу. О, не думайте, что его возвращение помешает нам видеться. Нет-нет, эта угроза относится только ко мне: мне придется вернуться к прежней жизни, к постылой повседневности. Если б вы знали, если бы только подозревали! Я не хотела никогда ничего говорить вам о нем, но у меня просто сердце разрывается, и молчать нет сил. Это воистину гнусный, отвратительный человек. Хотя нет, это, пожалуй, уж слишком. Не гнусный, не отвратительный, в сущности, он не так уж глуп, даже в некоторых достоинствах ему не откажешь. Но мужлан, Боже, какой же он мужлан! И даже не догадывается об этом. Впрочем, разве он вообще может что-то чувствовать, о чем-то догадываться! Для него существует только то, что можно пощупать, он способен только на самые примитивные чувства. Любые тонкости, оттенки ему недоступны. Господи, откуда у меня брались силы и терпение, чтобы жить с такой посредственностью? Быть может, я

смутно предчувствовала нашу встречу? Скажите, Ролан!

— Очень может быть, Рене. Да, скорее всего именно так. У женщин бывают такие предчувствия. Да и у мужчин. У мужчин тоже бывают.

— Мой милый, ты такой красивый, деликатный, благородный, ты понимаешь меня. Вам я могу сказать все. С вами я теряю робость и даже стыд. Я говорю, плачу, снова говорю, и все это время я ваша Рене. Как это странно. При вас мне хочется быть искренней, простой. А ведь вы не знаете меня. На самом деле я унылая домохозяйка, жалкая мещанка, скупая и тщеславная — в общем, жена своего мужа. Я такая, потому что такой и надо быть для него — приноравливаюсь. А он мужлан, мужлан! Для него ценно только то, что можно попробовать на вкус. Помню, накануне отъезда в Бухарест он жевал за завтраком колбасу и, громко чавкая, заявил: «Нет, все-таки добрый кусок кровяной колбасы — это вещь». Боже мой, да пусть себе обожает кровяную колбасу, пусть объявляет об этом, пусть чавкает, в конце концов. Но почему всякий раз, когда он открывает рот, я жду от него непременно чего-нибудь в таком вот духе? Хуже всего, что при всей своей грубости и толстокожести он ведет себя так, что его и упрекнуть-то не в чем! Жизнерадостный, добропорядочный, а главное — хороший семьянин. Он изо всех сил старается мне угодить, тут ничего не скажешь. В том-то и мука: безупречен, внимателен, а мне от него тошно — так кого же винить, как не себя? Я сама виновата в ошибке, в унижительной, закабалившей меня ошибке. Конечно, и мужчина вполне может ошибиться в выборе жены, и ему тоже бывает несладко. Но он как-то свыкается. Другое дело женщина. Для нее близость с нелюбимым мужчиной — насилие. Этот позор ничем не искупить. Я стыжусь мужа, мне до смерти стыдно перед вами, но больше всего — перед собой за свою ошибку. Смотрите на меня, презирайте меня. И, не будь вас, я бы и дальше пыталась притерпеться, извлечь из этой ошибки хоть какую-то вы-

году. Я даже самой себе не осмеливаюсь признаться, как чужд и ненавистен был мне всегда этот человек. Ненавижу его, ненавижу!

— Что вы, Рене, не надо преувеличивать.

— Да, конечно, моя история банальна — классическая история женщины, считающей свою жизнь несправедливо загубленной. Спору нет, все это смешно. Есть над чем позлословить. Ну, а добрый, великодушный человек просто улыбнется: не надо, мол, преувеличивать.

И Рене вновь разразилась рыданиями. Теперь они вызвали у меня куда меньше сочувствия, чем в первый раз. Тем не менее я как мог постарался ее утешить. Я уже не сюсюкал, а рассуждал серьезно, даже скрупулезно, как ставящий диагноз врач, и это проливалось бальзам на ее раны. Я понимал эту тоску и разделял ее: как-никак субъект, заставлявший ее страдать, был хорошо известен и мне. С горьким упоением от каждого своего слова я обрисовал его Рене довольно похоже. В целом персонаж получился вполне симпатичный. С этим Рене согласилась, но тут же переключилась на его смешные черты, что выглядело очень забавно. Я охотно посмеялся вместе с нею. Ничего общего с этим беднягой Серюзье я уже не чувствовал.

Время подошло к половине шестого, и Рене уже пора было возвращаться к себе на пятый этаж. Она чуть не заплакала, вспомнив, что завтра воскресенье. Дети будут дома, и она весь день, до самого вечера, будет оставаться с ними. Целый день без меня — это ужасно. Она робко предложила прийти ко мне после ухода служанки, когда дети уснут. Но тут моя отцовская совесть взбунтовалась, и я, став вдруг настоящим Серюзье, решительно воспротивился: ни в коем случае, как можно оставить детей одних, мало ли что может случиться. Но добавил: — Если не возражаете, милая Рене, лучше я спущусь к вам.

Она было вспыхнула, но потом глаза ее засверкали, и она согласилась. Меня же от перспективы тайно проникнуть в собственный дом бросало то в жар, то в холод.

Когда Рене ушла, я решил разобрать свою деловую

корреспонденцию, что заняло немало времени. Было уже половина девятого, когда я спустился к Маньере. Там я наконец застал Сарацинку, о которой не вспоминал, наверное, с неделю. Она ужинала в какой-то компании. Завидев меня, она, не скрывая радости, лучезарно улыбнулась, я же ответил сдержанной, почти холодной улыбкой. Эта встреча пришлось совершенно некстати. Все мои мысли были о Рене, я загодя переживал предстоящее драматическое приключение, когда крадучись, как вор, буду пробираться в собственную квартиру. Сарацинка же, появление которой все же не могло оставить меня безразличным, в эти переживания никак не вписывалась. За ее столиком шел оживленный разговор. Отвернувшись от меня, она тоже вступила в беседу и, похоже, так увлеклась, что возбудила во мне чуть ли не ревность. Она показалась мне еще красивее, чем в тот первый вечер, когда ужинала за тем же самым столиком. Ее прекрасное лицо с мужественными чертами представало передо мной как бы в более мягком, рассеянном свете, и блеск ее антрацитовых глаз тоже стал теплее. На ней было платье из пушистой ткани приглушенно-синего цвета; ряд металлических пуговиц, доходивший до самого подбородка, плавно изгибался на груди, колеблясь в ритме ее дыхания. Впоследствии я не раз вспоминал, что от Сарацинки веяло какой-то удивительной свежестью и чистотой — казалось, это свойственно ей от природы, а косметика здесь ни при чем.

Я уже принялся за ужин, когда она подошла к моему столику и села напротив. Подперев кулаком подбородок и глядя мне прямо в глаза, она заговорила своим хриловатым голосом:

— Вот и вы. В тот вечер, когда я вас увидела впервые, вы покинули меня с такой поспешностью, что я рассердилась. Не хотела больше вас видеть. Не пошла на свидание, которое вы тогда назначили на другой день. А потом уехала и все думала о вас. Мне было очень хорошо, только я боялась, что не увижу вас больше. А вы меня ждали? Думали обо мне?

— Сарацинка, как вы прекрасны.

— Взгляните на ту молоденькую брюнетку — она сидит за моим столом лицом к вам. Однажды часов в двенадцать ночи я зашла к ней в комнату, поговорить. Я сказала ей, что вы называете меня Сарацинкой, что я люблю вас. Говорила так, будто вы мой жених. Вашего адреса у меня нет, но я все равно писала вам письма, а потом рвала — как шестнадцатилетняя школьница. О, я чувствую, как я изменилась. Анна говорит, что я даже помолодела. Это правда? Вы молчите... Я приехала вчера и снова уезжаю сегодня, да, прямо сейчас, на пять дней. Вернусь не позднее четверга. Что, если нам встретиться в четверг, в пять? Где? Хорошо, пусть будет на проспекте Жюно. Я люблю вас.

Х

Известие о недельной отсрочке, которую давал мне отъезд Сарацинки, я принял чуть ли не с облегчением. Во время нашего короткого разговора она намекнула, что после ужина и перед тем, как ехать на вокзал, у нее, возможно, выдастся пара свободных часов. Можно было бы попросить ее уделить это время мне. Она бы не отказала, я знал это, но промолчал. В последний момент, уже встав, чтобы присоединиться к подругам, она наклонилась над столиком и прошептала: «Не заметно, чтобы вы особенно обрадовались. Но я не стану огорчаться. И в разлуке, вспоминая, как вы были сдержанны, буду думать себе в утешение, что наша встреча, должно быть, очень много значит для вас». На самом деле пока еще я относился к этому приключению не слишком серьезно, но был уверен, что все станет по-другому, как только оно начнется по-настоящему. Жены у меня теперь нет — некому изменять, некого стыдиться, и Сарацинка наверняка быстро приберет меня к ру-

кам. А я не стану противиться, легко убедив себя, что чем скорее я забуду Рене и детей, тем лучше. Так что я не слишком торопился стать добычей этой женщины. И хотя не собирался вообще отказываться от встречи с нею, но смутно надеялся, что возникнут новые препятствия.

Впрочем, меня куда больше заботило свидание с Рене, назначенное на завтрашний вечер. Все воскресенье я только о нем и думал. Но в последний момент меня постигло разочарование. Вечером, вернувшись домой, я нашел под дверью записку от Рене: она писала, что у нее остановилась на несколько дней кузина из Блуа. Мы всегда радушно принимали ее, так что о гостинице не могло быть и речи. Все эти дни Рене, как ни старалась, не могла урвать для меня свободной минутки. Кузина Жанетта обожала ее и не отпускала от себя ни на шаг. Я позвонил дяде Антонену и попросил его забрать гостью хоть на денек в Шату, но оказалось, что он занят, как он выразился, перелицовкой автомобиля и просто не может отлучиться из хлева и оставить свое детище разъятым на части: колеса отдельно, мотор и кузов отдельно, бросить его в тот момент, когда оно требует его неустанной заботы. Ни до чего другого ему не было дела, и только приличия ради он осведомился, как мои дела.

Наконец Рене черкнула мне, что во вторник после обеда поведет кузину в большой магазин «Бон Марше», а там постарается затеряться в толпе и улизнуть. Я должен был ждать ее в кафе на улице Севр. Был уже шестой час, когда она пришла. Обмануть бдительность любящей кузины оказалось не так просто: та дважды выуживала Рене из толпы. У меня же от долгого ожидания испортилось настроение, и я без всякой радости отметил, что Рене купила себе новое леопардовое манто. Не далее как в прошлом году я с превеликим трудом уговорил ее купить каракулевую шубу, тогда это казалось ей бессмысленной тратой денег. В конце концов она выбрала самую дешевую. А это манто, судя по виду, из меха самой лучшей выделки, уж верно, стоило куда дороже. Рене выглядела в нем очень

элегантно, но я не стал ей этого говорить, хотя и был приятно польщен тем, что ее появление в кафе привлекло всеобщее внимание. Холодно выслушав ее жалобы на Жанетту, я заметил: — Уже поздно. Но можно, если хотите, немного пройтись.

По улице Севр мы шли молча: Рене была огорчена моей мрачностью, да я и сам на себя досадовал. Она встревоженно посматривала на меня, но я делал вид, что ничего не замечаю. Наконец на улице Драгон она тронула мою руку и робко, с дрожью в голосе спросила:

— Вы сердитесь, Ролан? Простите меня.

— Ничуть не сержусь. С чего вы взяли!

Рене замолчала, обескураженная и задетая тем, что ее попытка смягчить меня была так резко отвергнута. На улице было темно и безлюдно. И только какая-то глупейшая гордость не позволила мне сию же минуту обнять и успокоить ее. Я чувствовал, как дрожит ее рука. Еще несколько минут прошагали мы в тягостном молчании. А около автобусной остановки на бульваре Сен-Жермен Рене подняла голову — я увидел ее несчастное лицо — и, сжав мою руку, сказала: — Ролан, значит, все кончено?

— Что вы, Рене! — воскликнул я. — Я вел себя глупо и подло. Накажите меня как хотите, только успокойтесь. Причинить вам боль, вам, моей любимой, видеть муку в ваших глазах — да после этого я должен боготворить вас до конца моих дней.

Рене просияла, поцеловала рукав моего пальто и со счастливой улыбкой положила голову мне на плечо. Эта трогательная сцена разыгрывалась на глазах пассажиров, выходивших из автобуса на остановке, и, когда мы подошли совсем близко, я заметил среди них Жюльена Готье. Он, несомненно, сразу узнал меня и пристально посмотрел мне в глаза. Встреча не сулила ничего хорошего. Она могла лишь укрепить в Жюльене опасное подозрение, которое уже заронил в него мой давешний рассказ. То, что мы с Рене в коротких отношениях и даже не пытаемся это скрывать, должно было не только неприятно поразить его, но и

натолкнуть на мысль, будто нам уже нет надобности опасаться мужа. А дальше напрашивался вывод, что я приложил руку к его исчезновению. Теперь, когда Жюльен узнал, что я любовник Рене, мое безумие представится ему в ином свете. Возможно, он сочтет его неким завихрением помрачившегося сознания преступника. Все это промелькнуло в моем мозгу за какую-то долю секунды. Рене же ничего не видела и вообще едва ли замечала что-нибудь вокруг. Я прибавил шагу, увлекая ее с собой, но Жюльен Готье обогнал нас и, видимо желая убедиться, что он не обознался и моя спутница действительно жена Рауля Серюзье, обернулся и без всякого стеснения устремил на нас тревожный и подозрительный взгляд. Казалось, он раздумывал, не заговорить ли с Рене, и удержала его, наверное, только антипатия, которую он всегда к ней испытывал. Тут и она его узнала, отпустила мою руку и в смятении прошептала: «Это приятель мужа. Вы видели, как он упорно глядел на нас? Наглец! Я никогда не жаловала его, и уж теперь-то он отыграется!» В самом деле, Рене держалась с Жюльеном подчеркнуто неприязненно, она вообще из принципа враждебно относилась ко всем моим прежним друзьям: чуть подсказывало ей, что эта холостяцкая компания может даже самого смирного мужа приохотить к самовольству. Со своей стороны, и Жюльен не старался расположить к себе Рене, он сам с первых же дней нашего супружества откровенно невзлюбил мою жену. Именно поэтому, как я потом узнал, он не стал предупредить Рене в первый же день, когда я сдуру решил открыться ему.

Такой бурной реакции я от Рене не ожидал. Из ее малосвязного лепета я понял, что она боится, как бы Жюльен не рассказал обо всем мужу. Между тем всего пять минут назад она не задумываясь пожертвовала бы своим семейным очагом ради одного моего ласкового слова. Должно быть, она разрывалась между ролью супруги и любовницы, как я разрывался между двумя моими сущностями, и я заключил из этого, что все выпавшие на мою

долю муки каждый может испытать на себе без всяких превращений. Однако Жюльен все шел чуть впереди нас, и я счел за лучшее так и идти за ним по улице Сен-Пер, демонстрируя, что совесть у меня чиста. Время от времени он оборачивался, но мы чинно шагали рядышком, на приличном расстоянии друг от друга,— может, он подумает, что ему просто почудилось, будто мы вели себя нескромно. Наконец, не выдержав напряжения, Рене напустилась на меня: — Зачем мы идем за ним по пятам? Можно подумать, вы его дразните.

Я попытался объяснить свои соображения, но она перебила меня: — Ну конечно, вы выдумываете невесть что, а чем все это может обернуться для меня, вам все равно. Вы-то свободны, а у меня муж и дети. Это моя жизнь, хотя вам, разумеется, нет дела.

— Тише, Рене. Он может услышать и решит, что любовники ссорятся,— сказал я и желчно усмехнулся, как актер, произносящий саркастическую реплику.

Снедаемая тревогой Рене не поняла моей горькой иронии. И только когда мы свернули на улицу Жакоба и Жюльен больше не маячил перед нами, она сказала с мягкой улыбкой: «Простите, милый, я вас обидела». А я ответил: «Да нет, просто вы не умеете притворяться, вот и все». — «Вы не хотите понять меня». — «Напротив, я все прекрасно понимаю». В таком духе мы проговорили до самого дома и расстались в половине седьмого. Но настоящая пытка началась позднее, часов в девять, когда я, сидя в одиночестве, стал гадать, что же предпримет Жюльен Готье. Если он сообщит в полицию, я пропал. Положим, никаких доказательств того, что я устранил Серюзье, нет и быть не может, а все, что я наговорил Жюльену, я, разумеется, буду в случае чего отрицать. Но я никак не мог удостоверить свою собственную личность, за меня некому было поручиться, и даже фальшивые документы, которыми я собирался обзавестись, не спасли бы положение. Утешало только то, что Жюльен считал непреложным фактом пребывание Рауля Серюзье в Бухаресте.

Он мог подозревать, что его друга по возвращении подстерегает опасность, и сегодня его подозрения могли укрепиться, но полагать, что преступление уже свершилось, у него не было никаких оснований. Поэтому логично было предположить, что он дождется Рауля и тотчас предупредит его. Или напишет ему письмо. Даже если на худой конец он заявит в полицию, то наверняка не станет предавать огласке поведение Рене только для того, чтобы обосновать свои опасения. Значит, он сможет лишь пересказать разговор в кафе и весьма приблизительно описать мою внешность. Полиция наведет справки у меня дома, на работе, позвонит в румынское консульство — а я предусмотрительно позаботился зайти туда и поставить визу в паспорте — и, убедившись, что все в порядке, закроет дело. Конечно, когда отсутствие Серюзе слишком затянется, придется снова достать досье с полки, но до тех пор все как-нибудь устроится. Спал я плохо. Чуть не всю ночь мне представлялось, как меня арестовывают и допрашивают, причем допрос рисовался во всех подробностях. «— Итак,— говорил мне комиссар,— вы утверждаете, что родились там-то первого июня 1900 года. Отлично. И ваш отец был часовщиком. Так? — Да, господин комиссар.— Вы снова лжете. Ваше имя не фигурирует в тамошних актах записи гражданского состояния, равно как и ни в каких других. Ну вот что, хватит с меня вранья. Бригадир Лефор, займитесь-ка этим молодчиком, чтобы он вспомнил, кто он такой на самом деле.— Господин комиссар! Я расскажу вам всю правду! Со мной произошла метаморфоза.— Метаморфоза? Как интересно! Обожаю метаморфозы! — Ну да! В один прекрасный день у меня ни с того ни с сего поменялось лицо. Стало не моим, а чьим-то чужим. Я не мог больше называться Раулем Серюзе. Вот и пришлось изменить имя.— Любопытно! Бригадир, подойдите поближе, ваша помощь все же может понадобиться. Значит, говорите, чужое лицо? Вам, верно, было очень тяжело.— Конечно, комиссар. Представьте, какое потрясение.— Ну ничего, дружок, скоро мы вас вылечим. Я знаю одно место, где есть как

раз такие врачи, специалисты по метаморфозам.— Нет, отпустите меня! Не хочу! Пустите! Я хочу уйти! Нет, нет, нет! — Бригадир, смирительную рубашку!»

После такой скверной ночи я проснулся измученным и раздраженным, чем, должно быть, и объяснялось мое нелепое поведение с Люсьеной в то утро. Причина или хотя бы предлог, чтобы зайти в агентство по делам, находились у меня каждый день. И всякий раз, переступая порог, я давал себе слово держаться с Люсьеной, сохраняя собственное достоинство, но стоило мне ее увидеть, как желание подольститься к ней пересиливало все благие намерения, и я снова, почти невольно, принимался разыгрывать роль нуждающегося в покровительстве новичка. Это было вполне естественно. Мне хотелось вернуть любовь и расположение Люсьены. И я действительно нуждался в поддержке — я ведь был так одинок. А в этой славной девушке с ясным взглядом угадывались такая сила и такая нежность, что казалось, вот оно, спасение, казалось, сожмешь ее в объятиях — и всех бед как не бывало. Однако со мной она держалась отчужденно, а то и подчеркнуто холодно, так что я не мог подступиться к ней с признаниями. Если же я отваживался иногда, жадно глядя на нее, прошептать: «Боже, как вы прелестны», а когда мы вместе склонялись над каким-нибудь документом, прижимался щекой к ее щеке или коленом к ее колену под столом, она пресекала эти попытки с унижительным для меня равнодушием.

В то утро окошко машинистки пустовало.

— А где же госпожа Бюст? — спросил я у Люсьены.

— Заболела. Только что от нее звонили,— ответила она.

Итак, мы вдвоем. При мысли об этом у меня забило сердце. Я представил себе пылкие признания, мольбы, душевраздирающие вздохи. Разумеется, всерьез ни о чем подобном я не помышлял. Официальным тоном я изложил Люсьене дело, которое привело меня в агентство. Речь шла об одном намечавшемся клиенте, которому надо было бы сделать скидку. Разрешить это имела право только она. Стоя посре-

ди приемной, мы принялись обсуждать этот вопрос. Я приводил какие-то доводы в пользу сделки, плохо соображая, что говорю; только одно существовало для меня в этот момент: Люсьена, ее серьезное открытое лицо, ее крупное и сильное, как у спортсменки, пьянящее свежестью тело. Она же силилась вспомнить подходящий прецедент, сжав губы и нахмутив брови от напряжения. Я смотрел на нее не отрываясь и наконец осмелел: обнял ее за шею, притянул к себе и стал целовать в губы, шепча страстные слова. Люсьена с силой оттолкнула меня, в глазах ее пылал гнев, но голос оставался ровным: — Идиот! Форменный идиот.

— Я люблю вас, Люсьена. Выслушайте меня, я прошу вас стать моей женой.

— Это невозможно.

— Погодите, Люсьена. Конечно, я разозлил вас, я вечно делаю все не так, и все меня терпеть не могут. Но не говорите так сразу: это невозможно. Не отвечайте поспешно или сгоряча. Вы для меня — вся жизнь.

— Ну хорошо, я уже успокоилась и повторяю вам: это невозможно,— твердо сказала Люсьена.

Продолжать не имело смысла, но я уже так настроился на высокий лад, что сам поверил в свою великую любовь и остановиться прямо с разгону никак не мог. Пусть даже я был бы отвергнут, но не иначе как после бурного объяснения. И вот я принялся громко сетовать — благо госпожи Бюст не было,— что жизнь моя разбита, а я, безумец, уверовал было, будто судьба наконец смилостивилась надо мной. Безысходное одиночество — вот удел таких отщепенцев, как я. Я так увлекся, что проклял час своего рождения — это при моем-то жизнелюбии. Люсьена не проронила ни слова. Тогда, чтобы хоть вызвать ее возражения, я принялся упрекать ее в том, что она якобы нарочно, ради забавы разжигала мою страсть. Но Люсьена, потеряв терпение, просто-напросто повернулась и пошла к двери кабинета.

— Я вам противен? — Честно говоря, да,— ответила она, скрываясь в кабинете.

Ее презрительный тон словно подхлестнул меня. Вот когда, должно быть, сказалась тяжелая ночь кошмаров. Меня обуяла дикая злоба, я словно опьянел, впрочем, не настолько, чтобы не сознавать гнусность того, что делаю. Я бросился вслед за Люсьеной и чуть не сорвал дверь с петель. Люсьена сидела на столе, положив ногу на ногу и глядя в окно. Подскочив к ней, я начал негромким, но срывающимся от бешенства голосом:

— Значит, я вам противен? А Серюзье, значит, не противен? Вот кто вам по вкусу. Он мне все рассказал в Бурже. Ваш роман длился две недели, верно? Я все знаю от него самого! Однажды, так же как сегодня, Бюст не вышла на работу. Все утро вы разбирали бумаги в кабинете, и Серюзье то и дело обнимал вас. А когда подошло время обеденного перерыва, он шепнул вам: «Я закрою дверь на ключ». И вы покраснели от волнения и от счастья. Говорю же вам: он рассказал мне все-все.

Сначала Люсьена изумленно глядела на меня, потом лицо ее сделалось каменным, и я подумал, что она сейчас влепит мне пощечину, но нет — она просто отвернулась к окну и застыла, стиснув зубы и часто моргая, чтобы не расплакаться. Она уже не замечала меня, не слышала оскорблений. Слишком сильно было потрясение, слишком глубока рана. Я понимал это, но мне непременно хотелось увидеть ее слезы. Я ждал этого момента с каким-то ревнивым изуверством. И хотя к нему примешивалось другое чувство: благодарности и восхищения, я не мог противиться неистовому желанию разбить все вдребезги, втоптать в грязь.

— Будьте уверены, он выложил мне все подробности. И как вы ездили с ним в Нанси, а госпоже Бюст сказали, будто больны. Как провели там два дня. И две ночи. У вас, кажется, была прелестная белая пижама. «Ну, старик,— это Серюзье мне так говорил, в своей обычной хамоватой манере,— так вот, говорит, старик, прямо ни дать ни взять Снежная Королева!» Не стану повторять вам всего, что он рассказывал: например, о паре чулок в первое ваше утро или об одной поездке в такси. У меня просто

язык не поворачивается. Пусть мне не везет в любви. Пусть я невежа и тупица, но есть границы, которые я не позволю себе переступить. А для вашего Серюрье, да будет вам известно, никаких границ нет вообще. Мне было совестно за него и больно за вас, хоть мы с вами еще и не были знакомы. Этакое бесстыдство! И ведь мы с ним не такие уж близкие друзья, да к тому же десять лет вообще не виделись. О, вы его плохо знаете!

Люсьена плакала, плакала, не опуская головы, не закрывая глаз. Слезы текли по ее щекам, и там, где они капали на белый крахмальный воротничок, вздувались маленькие пузырьки.

— Он не постеснялся пересказать мне даже то, что вы говорили ему тогда, в самый первый раз, такие прекрасные слова: «Твои глаза...» — помните?

Люсьена всхлипнула и жалобно, чуть слышно, как горько обиженная девочка, застонала. Я вдруг заметил, как она уронила руку с бессильно разжатыми пальцами: все отняли, держаться больше не за что, так пусть уходит и жизнь. И жалость пронзила меня. Я упал перед ней на колени:

— Это все неправда! Я вру! Рауль ничего мне не рассказывал! Клянусь! Когда-нибудь я вам все объясню. Напишу, откуда я все это узнал, но только не от Рауля, поверьте! О, вы не верите, да и не можете верить мне, а ведь именно сейчас я говорю правду!

— Уйдите, — прошептала Люсьена. — Оставьте меня.

Я встал и, бесшумно пятясь, вышел. Меня охватило отчаяние, я ужасался содеянному и был так противен сам себе, что, едва очутившись на улице, опрометью бросился прочь, словно хотел убежать от сидевшей во мне омерзительной гадины. Я мчался не разбирая дороги, пока не налетел на какого-то верзилу в свитере. Тот ухватил меня за руку и, развернув на сто восемьдесят градусов, рывкнул: — Эй, приятель, нельзя ли повежливее!

Не соображая, что бегу теперь уже в обратном направлении, я все несся и несся, пока снова не оказался перед зданием, где помещалось агентство, и тут остановился:

в голову пришла мысль, от которой я похолодел. Я надругался над святым для Люсьены чувством и оставил ее совершенно уничтоженной — что, если даже ее на редкость уравновешенная натура не выдержит такого удара и несчастная покончит с собой? Я хотел войти, но не решился. Не только стыд, но и страх удерживал меня: один вид ненавистного человека мог довести Люсьену до самоубийства. Должно быть, у меня был жалкий вид, потому что тот самый верзила, с которым я столкнулся и который теперь нагнал меня, на этот раз участливо бросил мне на ходу: «Что, мсье, неприятности?» Простояв несколько минут в растерянности, я наконец пустился на хитрость: позвонил Люсьене как будто из Бухареста.

— Алло! Это госпожа Бюст?

— Нет, — услышался в ответ сдавленный голос, который я с трудом узнал.

— Это вы, Люсьена? Говорит Серюрье. Я ездил в Софию, а сейчас снова в Бухаресте. Как вы поживаете?

— Благодарю вас, хорошо.

— Что нового в агентстве? Как идут дела? Новый сотрудник уже приступил к работе?

— Приступил.

— У вас какой-то странный голос, Люсьена. Вы, кажется, не в духе. А я позвонил, потому что соскучился, захотел поговорить с вами.

В трубке раздался всхлип и невнятное бормотанье.

— Да вы плачете, Люсьена.

— Я? Нет. Кстати, ваш друг господин Сорель только что приходил и спрашивал, можно ли в виде исключения сделать скидку новому клиенту.

Она принялась излагать все в деталях, и я охотно воспользовался случаем затеять деловой спор. Люсьена словно бы отвлеклась от своего горя, голос ее окреп. Под конец я сказал:

— Я так люблю вас, что готов согласиться. Поступайте как хотите. Обещайте только, что не забудете меня.

— О, — вздохнула она, — это я могу вам обещать твердо.

Этим вздохом, в котором мне почудилась глубокая нежность, наш разговор закончился: я положил трубку, не дожидаясь продолжения. Было бы нестерпимо услышать от Люсьены, что она по-прежнему любит и будет любить меня несмотря ни на что. Собственно говоря, никаких оснований считать, что именно это она и скажет, не было, но с тех пор, как я соблазнил свою жену, я стал мнить себя чертовски проницательным, особенно в сердечных делах.

Ближе к вечеру, когда дела вновь привели меня в центр, я не удержался и опять подошел к агентству. Позорная утренняя сцена не шла у меня из головы, хотя за Люсьену я больше не беспокоился. Трижды проходил я мимо двери, не собираясь заходить, а просто уступая непреодолимой тяге. В конце концов мне стало неловко за это смехотворное топтанье на месте, и я собрался перейти на другую сторону, как вдруг заметил Жюльена Готье. Он стоял посреди мостовой на островке безопасности и ждал, когда пройдут машины. Его появление здесь на другой день после того, как он видел нас с Рене, насторожило меня. Он часто навещался ко мне на работу, был знаком с Люсьеной, и она ему всегда нравилась. Так что не было бы ничего удивительного, если бы он решил посоветоваться с ней, как быть с тем ненормальным типом. Так и есть: вот он вошел в подъезд, вот захлопнулась дверца лифта. Когда же кабина стала подниматься, я тоже зашел и, стоя внизу, смог убедиться, что она остановилась как раз на четвертом этаже.

XI

В тот же день я позвонил дяде Антонену и попросил его срочно приехать. Он обещал и назначил встречу в кафе на бульваре Клиши. Я явился первым ровно в половине

десятого и, ожидая появления дяди с минуты на минуту, стал прохаживаться взад и вперед перед входом. Ждать, сидя за столиком, я просто не мог, до того был взвинчен. Стоял промозглый холод, свет фонарей расплывался радужными ореолами. Я вышагивал по пустынному в этот час тротуару: дневная суতোлка давно схлынула, а вечерним гулякам на этой стороне прельститься было нечем. Но не успел я сделать и полусотни шагов, как на первом же углу услышал банальный призыв: «Эй, котик, посмотри-ка, разве я тебе не нравлюсь!»

Певучий выговор девицы напомнил мне родные места. Она была еще очень молода, а маленький рост и хрупкая фигурка делали ее и вовсе ребенком. Должно быть, начинающая, какая-нибудь служаночка, променявшая кухню на панель. Она схватила меня за рукав пальто, и я заметил, что рука у нее довольно маленькая, но красная и шершавая, еще не выхоленная, как у профессионалки. Я остановился, заглянул ей в лицо: хорошенькая мордашка, простоватая, хотя и чуть с хитрецей. И вдруг мне почудилось, что в этой служаночке мое спасение, с ее помощью я смогу разорвать стягивавшееся вокруг меня кольцо. Мне захотелось пойти с ней, а еще лучше вообще уехать с ней подальше от Парижа, доверив все свои трудности, всю свою жизнь этому слабому буксиру. Только людей серьезных и степенных может порой с такой силой обуять сумасшедшее желание сыграть ва-банк, уцепившись за ничтожно малый шанс обрести нечто такое, чего никогда не выпало бы им в их постной, унылой жизни, наполненной трудами праведными.

— Ну, котик?

— Холодно, правда? — сказал я. — Собачья погода, собачья жизнь. Послушайте, хотите, бросим все это и укатим из этой сырости и слякоти куда-нибудь в жаркие страны. Сядем в поезд или на пароход...

— Но-но-но! — перебила служаночка. — Не старайся понапрасну. Мне ясно, к чему ты клонишь, но со мной этот номер не пройдет.

Она снисходительно усмехнулась и, глядя на меня гордо и ликующе, сказала:

— Не думай; то, чем я теперь занимаюсь, это только пока. Погляди на меня хорошенько и запомни. Месяца через два, а то и раньше я буду сниматься в кино. Там работает мой дружок.

Во мне проснулось любопытство, и я предложил девушке выпить по стаканчику грога. Она согласилась и тут же принялась трещать без умолку:

— Я же говорю, это только пока. Ну и вообще, чтобы набраться опыта, почувствовать атмосферу, среду. Виктор собирается снимать меня в бытовых ролях. Мне-то, конечно, больше хочется сыграть какую-нибудь светскую барышню из благородного пансиона, ну да ладно, бытовые так бытовые. У каждого, как говорит Виктор, свои данные. У меня данные для бытовых ролей, он это сразу понял. И вот готовится снимать со мной фильм. А натурные съемки будем делать на Лазурном берегу или в Аргентине. И для моей сестры Леони там тоже найдется роль — вот здорово! На днях выпишем ее из провинции.

Говоря все это, она тащила меня вперед по тому же тротуару, где я шагал в одиночестве, к какому-то приглянувшемуся ей кафе. С другого конца улицы приближался грузовичок, поравнявшись с нами, он остановился. Как раз в этот момент я обхватил девушку за плечи и, наклонившись к ней, чтобы перекричать тарахтенье мотора, воскликнул:

— Какая чушь! Неужели вы клонете на эту выдумку с кино? Да это шито белыми нитками! Поймите же, ваш Виктор просто мерзавец!

— Но-но-но! Я и сама знаю, что бывают типы, которые заманивают девушек таким манером. Виктор же мне и сказал. Но он не из таких! Он уже снял со мной пробу. Я себя видела на экране. Вот так-то: сама себя на настоящем экране! С ума сойти!

И тут кто-то взял меня сзади за плечо и потянул. Думая, что это Виктор, я обернулся, готовый защищаться. Но это оказался дядя Антонен, и в его взгляде мне почудилось

что-то недоброе. Девушка же, увидев пышноусого господина, должно быть, приняла его за полицейского и задала стрелкача, миг — и она уже перебежала через улицу и затерялась в толпе. Дядя молча смотрел на меня уничтожающим взглядом. Я никак не мог понять, в чем дело, пока он не разразился гневной тирадой: — Негодяй! Ловко вы меня одурачили этой басней о превращении! И я хорош — развесил уши! Бить меня, старого олуха, некому.

— Да что с вами, дядя? Вы мне больше не верите? Но почему?

— Потому что теперь до меня дошло, что все это подлая ложь! И ведь я бы и сейчас еще верил вашим рассказам, если бы не увидел, как вы ухлестывали за этой красоткой! Я видел! Я все видел!

— Ничего не понимаю. Пусть я, как вы выразились, ухлестывал за красоткой. Какое это имеет отношение к тому, что я рассказывал?

— Ах, какое отношение? Э-э, мой милый, хоть вы и считаете себя большим хитрецом, и не без оснований, а все же кое-что упустили из виду. Или просто плохо знаете моего племянника. Так вот: Рауль — человек солидный, человек строгих правил, словом, в высшей степени порядочный человек. И Рауль никогда не позволил бы себе, пользуясь тем, что его никто не видит, обниматься с уличной девкой, как вы только что на моих глазах! Никогда в жизни!

— Ну, это уж слишком! Каким бы Рауль ни был солидным, это не значит, что он не мог поддаться минутной слабости. Что за черт — я уже и сам за вами следом заговорил о себе в третьем лице!

— Ага! Вот и проговорились!

— Дядюшка, умоляю, взгляните на меня. Или нет, лучше вслушайтесь, разве вы не узнаете голос вашего племянника! Какой-нибудь случайный приятель, может, и мог бы усомниться, но вы! Вы мне не верите. Позвольте хоть объяснить, как было дело. Я прохаживался тут, поджидая вас. Вдруг цепляется эта пигалица.

И я рассказал дяде историю служаночки.

— Когда вы подъехали, я как раз пытался растолковать ей, как она наивна. А за плечи ее взял из жалости или, скорее, с досады, чтобы встряхнуть как следует в подкрепление своих слов.

— Бедная девочка,— вымолвил дядя Антонен.— Какая низость! Может, попробовать догнать ее?

— Бесплезно да и незачем. Так как же, дядя, вы все еще считаете меня негодяем и самозванцем?

— Конечно, нет. Я готов считать вас своим племянником.

Хотел того дядя или нет, но этот ответ прозвучал весьма двусмысленно и уклончиво. Кроме того, он продолжал говорить мне «вы» вместо прежнего «ты». Неумышленно, это почти не вызывало сомнений, и это меня отнюдь не обнадеживало. Мы повернули к кафе, где должны были встретиться. Проходя мимо грузовичка, дядя объяснил мне, что приехал на чужой машине, потому что его собственная еще не на ходу, и стал описывать, как основательно он собирается ее переделать. Мы уже сидели за столиком, а он говорил все о том же. И мало-помалу подозрения его развеялись, как будто метаморфозы его автомобиля прибавляли достоверности метаморфозе его племянника. Он снова перешел на «ты».

— Ну, так что стряслось? — спросил он.— Ты меня просто испугал по телефону.

— Мои дела усложняются,— сказал я.— Я в опасности. Кажется, Жюльен Готье начал действовать.

Услышав о Жюльене Готье, чье имя напомнило ему об определенной точке зрения на мою особу, дядя снова помрачнел, и я почувствовал, что он с трудом подавляет вновь закравшиеся сомнения. Он отвел взгляд. Тем не менее я продолжал:

— А случилось вот что. Вчера, часов в шесть вечера, мы с Рене гуляли и попались на глаза Жюльену. Он обернулся и посмотрел нам вслед, а потом перегнал, чтобы убедиться, что не обознался. Как на грех, я держал Рене под руку. В общем, понятно, что он подумал. Правда, он ничего не сказал и даже не подал виду, что узнал нас, но зато бесцер-

монно на нас уставился, как на преступников, которых ждет скамья подсудимых. Уж наверное, решил, что я чересчур потеснил позиции его друга Рауля, если не вытеснил его вовсе.

— А что, похоже на правду! — вырвалось у дяди. Мой рассказ как будто произвел на него впечатление.

— Почему вы говорите «похоже на правду»? — спросил я, не сдержав досады.

— Я говорю «похоже на правду», потому что это похоже на правду, — ответил дядя тоном, в котором сквозил вызов. Еще немного — и он добавил бы: «Я что, не имею права на собственное мнение?» Дальнейшие излияния, судя по всему, были бессмысленны. Повисло неловкое молчание. Я чувствовал, что единственный человек, который был связующим звеном между двумя моими жизнями, стоит на грани отречения. А без его веры и поддержки я и сам вот-вот сочту все случившееся плодом своего больного воображения. Еще миг — и конец. Но и дядя был удручен не меньше и глядел на меня в полном замешательстве. Он не мог отделаться от подозрений, постепенно осознавая всю несуразность подобного превращения, и окончательно изменить мнение ему мешало только своего рода чувство собственного достоинства. Впрочем, в мою пользу склоняли его еще и связывавшие нас узы дружбы и сообщничества и, главное, страх перед неизбежным выбором: считать меня злодеем или жертвой. В приливе гнева он уже было разрешил это затруднение не в мою пользу, но теперь, успокоившись и поразмыслив, снова заколебался, не поспешил ли с приговором. И я сделал попытку отвоевать позиции.

— Давайте говорить откровенно, дядя, — начал я. — Вы ведь все еще сомневаетесь, и чем дальше, тем больше. Я задам вам тот же вопрос, что задал бы Жюльену, если бы наша с ним беседа не оборвалась. Будь я не Рауль Серюзье, а кто-то другой, какого черта стал бы я морочить вам голову этими выдумками? Ведь это рискованно. Разве мне требовалась ваша помощь, чтобы добиться Рене? Нет. Разве я вымогал у вас деньги? Нет. А между прочим, мог бы

воспользоваться вашей щедростью и доверием — вы же сами предложили мне дать сколько понадобится. Сделал я это? Ну, допустим, я хотел заручиться вашей поддержкой, чтобы убедить Рене, будто я ее муж. Но каждый раз, когда вы предлагали вмешаться в это дело, я решительно отказывался. Вспомните, как я разозлился тогда, в Шату. Да что там, как ни крути, а иного объяснения моим поступкам я не вижу. Но, может, у вас есть свои соображения?

— У меня? Помилуй Бог! Никаких!

— Можно еще, конечно, подумать, что я сумасшедший. Именно в этом убежден Жюльен, и это вполне логичное предположение. Уже одно то, что я заявляю, будто у меня поменялось лицо, говорит в его пользу. Но это было столь же логично и три недели назад, и вчера — сейчас же никаких новых доказательств моего безумия не прибавилось. Вы увидели меня с девицей и решили, что я самозванец. Решение несколько поспешное, но кому не случается ошибиться в запальчивости, да это и неважно, потому что в конце концов вы убедились в чистоте моих намерений. Уж в этом-то, по крайней мере, вы больше не сомневаетесь?

— Нет-нет. Было бы глупо. Да и потом, как я теперь понимаю, даже если бы твои намерения и не были так уж чисты, это бы еще ничего не значило.

— Так в чем же дело?

— Все это, конечно, так. И никаких новых причин сомневаться нет, тут ты тоже прав.

Дядя Антонен умолк и, задумчиво упершись взглядом в мой галстук, принялся теребить кончики усов. Я с замиранием сердца дожидался итога его размышлений. Наконец он вздохнул и, не поднимая глаз, словно подчиняясь неприятной необходимости, произнес:

— Но все равно, Рауль, все равно. Чтобы у кого-нибудь ни с того ни с сего вдруг стало чужое лицо — так ведь не бывает. Ни один нормальный человек в это не поверит.

Последняя надежда рухнула. Вера в абсурдное зиждется на благодати, которую поддерживает в человеке некая непостижимая сила. Стоит действию этой силы по какой-либо

причине прекратиться, и все — утраченной веры не вернет никакая логика. Наверное, дядя понял, что эта благодать оставила его. И как мне показалось, почувствовал себя обнищавшим и униженным. Он бросал на меня робкие взгляды, словно мучимый совестью перебежчик, сознавая свое вероотступничество и стыдясь его. Высказаться определенно он так и не решился. Несколько раз он заводил речь о Жюльене, и я понял, что он вознамерился встретиться с ним. Вынудив его признаться в этом, я тут же предложил свести их друг с другом.

— Вообще-то это не в моих интересах, — сказал я со вздохом, — ну да ладно. По крайней мере, все будет в открытую, и я смогу постоять за себя. Пора наконец решительно объясниться. Я не надеюсь убедить вас, но, может, вы хоть беспристрастно выслушаете меня. О большем я и не мечтаю.

Дядя стал с жаром уверять меня, что это только для очистки совести. Мы назначили встречу через день в одном ресторане около площади Звезды и разошлись.

Разумеется, являться на это свидание я не собирался. Просто нужно было выгадать время, иначе дядя, чего доброго, связался бы с Жюльеном сам, прямо завтра, и рассказал бы ему все, что знал, а уж Жюльен сумел бы воспользоваться этими сведениями. Ведь охота за мной наверняка уже началась. Ясно, что после беседы с Люсьеной подозрения Жюльена стали более определенными: она не могла не узнать меня в описании опасного маньяка, выдающего себя за Рауля Серюзье. А это было немаловажным открытием для Жюльена. Выходит, я не только потеснил позиции Рауля в семейной жизни, но еще и подбираюсь к его делу. Тут уж впору обращаться в полицию. Хорошо еще, что Жюльен, видимо, полагал, что я в Румынии. Письма с бухарестским штемпелем достаточно убедительны. Но ведь он мог и учуять обман, особенно если Люсьена сообразит, что в день моего отъезда ни разу не видела меня в лицо. Впрочем, вряд ли она вспомнит. Да и госпожа Бюст клятвенно подтвердит, что видела меня собственными глазами.

Как бы то ни было, Жюльен еще не знает, где я живу.

Люсьене я дал фальшивый адрес, и даже если это уже вскрылось, пройдет никак не меньше двух дней, прежде чем будет обнаружено мое пристанище на улице Коленкура. Конечно, неплохо бы сменить квартиру завтра же утром, но не мог же я уехать из этого квартала, а то и вовсе из Парижа, не повидав еще раз Рене и не попытавшись забрать с собой ее и детей. Кузина должна была вернуться в Блуа на следующий день, в четверг, и мы уже сговорились встретиться в тот же вечер. Рене будет ждать меня после девяти, когда заснут дети. В это же самое время в кафе Жюно меня будет ждать Сарацинка, но свиданием с ней я решительно, хоть и не без сожаления, пожертвовал ради Рене.

Я пошел домой верхними улочками Монмартра, чтобы подойти к своему перекрестку со стороны идущей под уклон улицы Жирардона, где легко спрятаться; а вдруг Жюльен уже знает, что адрес, который я назвал Люсьене, ложный, и решил выследить меня, устроив засаду возле дома Рене. К счастью, на улице Коленкура никого не было. Я заметил, что в крайнем балконном окне нашей квартиры на пятом этаже, то есть в спальне, горит свет и распахнуты ставни. Это в одиннадцать-то часов вечера. На площадке шестого меня ждала Рене.

— Я увидела вас с балкона,— сказала она.

— А как же кухня?

— Она в кино. Мы взяли два билета, а в последний момент у меня возьми да и разболелась голова. И Жанетта пошла с няней. Но вы вернулись так поздно, что от моей болезни не будет никакого проку.

— Если бы я знал!

Мы вошли в мою холостяцкую квартиру. Все еще переживая отступничество дяди Антонена, я почти не слушал Рене и думал о своем. До сих пор я еще не испытал в полной мере всего, что уготовано мне моим превращением. Только теперь, когда все спутники прежней жизни оставят меня, я пойму, что значит одиночество. И тяжкий старческий вздох вырвался из моей груди.

— Что с вами?

— Ничего,— ответил я и снова вздохнул.— Знай я, что увижу вас сегодня вечером, я бы приготовился к разговору. И ведь я весь день думал о вас, задавал себе уйму мучительных вопросов, а сейчас не могу собраться с мыслями. Задать бы все эти вопросы вам, да так, чтобы заставить отвечать напрямик: да или нет. Потому что ваши слова «не знаю» можно истолковывать и так, и эдак.

— Я предвижу, Ролан, к чему сведутся все ваши вопросы: вы уличите меня в том, что я сама себе противоречу. Но будьте справедливы ко мне и ни о чем не спрашивайте: я и так отдаю вам все, что могу. А что до противоречий, так ведь они входят в правила нашей с вами игры. И вы понимали это еще раньше, чем поняла я.

Такое начало позволяло догадаться, что последует дальше. Моя жена не изменилась. Я с удовлетворением видел, что к ней вернулось благоразумие замужней женщины, матери семейства. В глазах ее ясно читалось: я люблю тебя, но любовь любовью... Продолжать уговоры было бесполезно. Новое обличье делало свое дело и неотвратимо подчиняло себе мою жизнь. Люсьена и дядя Антонен уже отреклись от меня, теперь настала очередь моей жены.

— О чем вы задумались? — спросила Рене.

— Не скажу — вы сами только что запретили мне говорить об этом. Как вашей кухне понравился Париж?

— Ну хорошо, задавайте ваши вопросы, юноша. Вам смешно, что я вас так называю? Что поделаешь, мне ведь скоро исполнится не тридцать, как я вам говорила, а все тридцать пять. У меня семья, дети. А вы — милый юноша, живущий в Париже без году неделя на средства родителей, от которых ему вздумалось уехать. Может, они хотели помешать вам жениться на какой-нибудь барышне из магазина, и когда вам взбрело в голову поехать в Париж, они подумали: «Почему бы и нет? Он забудет ее». Вы даже не знаете и никогда не узнаете, сами ли вы сели в поезд или вас посадили папа с мамой. Все решилось так быстро, что вы не успели захватить ни свой гербарий, ни коллекцию бабочек, ни барышню из магазина. А в Париже вы превра-

тились в натуралиста и покорили замужнюю женщину. Примерно так обстоит дело. Если я и ошибаюсь в деталях, это неважно. Милый мой, мне бы так хотелось закрыть глаза, забыть все, что нас разделяет, все, что против меня. Но вы юнец. Я должна была предвидеть, что одной любви вам скоро станет мало. Вам надо все знать, всем владеть, вы добиваетесь как раз того, что больше всего вредит любви, гасит ее, того, что я не выставляла наружу, о чем умалчивала. Я говорила вам, что мой муж — человек грубый, заурядный, что мне с ним плохо. Уверять любовника, будто он единственный и бесподобный, и тактично помалкивать о том, что ты, как всякая женщина, ладишь со своим благоверным, делишь с ним житейские радости и горести, — это ли не верх деликатности, да-да, не спорьте, так оно и есть! Вам бы, как воспитанному молодому человеку, понять, в чем ваша роль, и по возможности подыгрывать мне. А вместо этого вы несетесь закусив удила, только потому, что вам, видите ли, померещилась тень моего мужа, между тем как он, бедняга, сидит себе в своем Бухаресте. Вы ставите мне в упрек все: и Жанетту, и Рауля. Да, у моего мужа есть имя, хоть я никогда прежде не называла его вам, его зовут Рауль. Со вчерашнего дня вы смотрите на меня как на изменницу. Ладно же, задавайте ваш вопрос. Что — расхотелось? Нет уж, теперь спрашивайте: «Любите вы меня в конце концов или нет?»

Я невольно улыбнулся: хоть все складывалось не слишком весело для меня, но Рене была великолепна.

— Вы правы, — сказал я, — и хотя мне ни много ни мало тридцать восемь лет, я даже не юноша, а совсем дитя. Вопросы, которые я собирался вам задать, действительно глупые. Впрочем, вы не совсем угадали: любите вы меня или нет — это не главный из них. Я хотел спросить, согласны ли вы поехать со мной на край света. Понятно, теперь я этого не сделаю, однако, признайтесь, такой вопрос только украсил бы любой роман.

— Не сомневаюсь, Ролан, и, конечно, помечтать об этом было бы очень приятно. Но сказать вам, чем я только

что занималась? Варила варенье. Так надо же его и съесть. Кроме того, я вяжу свитер для Туанетты, а на очереди еще жилеты, носки, гольфы. Да и зачем мне на край света? Подняться сюда, к вам,— для меня и то огромное путешествие, куда уж дальше. Вы не обиделись?

— Напротив. Я восхищен вашим здравомыслием. Знаете, мне кажется, будто мы с вами много лет женаты, но вот уже месяц, как я почему-то забыл об этом. А вы точно знаете, что ваш муж в Бухаресте?

Но тут я снова вспомнил о своем проклятом превращении и очнулся, вся эта игра в любовников показалась мне нудной и нелепой. И когда Рене в свою очередь спросила, знаю ли я точно, где находится моя барышня из магазина, я оборвал ее:

— Довольно дурачиться. Никакой барышни и вообще ничего из того, что вы тут насочиняли, нет и в помине. Есть только человек, который, Бог знает почему, любит вас и способен обеспечить вас и ваших детей. И он полагает, что очень скоро у вас может возникнуть в этом необходимость. Вы так изумительно невозмутимы, что намеками вас не проймешь. Поэтому придется говорить без обиняков: те весьма незначительные дела, которыми занимается ваш муж, никак не могут оправдать его вот уже трехнедельную отлучку. Никакой необходимости в подобной поездке вообще не было, и уж во всяком случае, недели с лихвой хватило бы, чтобы уладить дела. Напрашивается вывод, что ваш муж вообще не намерен возвращаться.

Рене побледнела как полотно, часто задышала.

— Это вы нарочно...— произнесла она слабым голосом,— нарочно так говорите, чтобы испугать меня.

— Возможно, я ошибаюсь, и он просто загулял с какой-нибудь красоткой. Хорошо, если так. Много он взял с собой денег?

— Он сказал по телефону перед самым отъездом, что снял со счета сорок тысяч франков.

— Плохой признак. Ну, а что вам известно о прежних

его интрижках, часто с ним такое бывало?

— Что вы! Он вел себя безукоризненно, да меня и не обманешь, я глаз с него не спускала. Он даже побаивался меня. И я уверена: заведись у него интрижка, он бы порвал ее при малейшем моем подозрении. Надо уметь держать мужа в узде, ежедневно управлять каждым его шагом, и тогда он постоянно чувствует присутствие жены, даже когда ее нет рядом.

Сознание власти над мужем приободрило Рене, лицо ее прояснилось.

— Вот-вот, как раз это и может для вас плохо обернуться,— сказал тогда я.— Знал я мужей, которых жены держали в строгости. Они безупречны до тех пор, пока в один прекрасный день вихрь страсти не унесет их прочь с супружеской стези, и если уж они разорвут свою цепь, ничто на свете не заставит их вернуться к семейному очагу. Скорее они скатятся на самое дно. Был у меня один такой знакомый...

И я сочинил целую историю о том, как этот человек, занимавший-де видный пост, имевший приличное состояние и обожавший своих четверых детишек, был у жены под каблуком, и как печально это кончилось: после двадцати лет супружества он сбежал с некой особой, которая отнюдь не блистала молодостью и красотой.

— Однажды,— продолжал я,— я повстречал его в Марселе, он созывал туристов на морскую прогулку по Старому порту. Тогда-то он и рассказал мне, как случилось, что он бросил семью. Я слушал, и у меня прямо сердце разрывалось. Как-то раз он шел со службы домой и впервые в жизни прельстился уличной девицей и пошел с нею. А потом одна мысль, что придется предстать пред женины очи запятнанным таким грехом, настолько ужаснула его, что он так и остался в гостинице, куда привела его девица. Помню, я заклинал его опомниться, расписывал, как тяжело приходится его семье: дети голодают, жена гнет спину по чужим домам, какая горькая участь ожидает тех, кого он любил и любит по сей день. Но, хотя прошло уже три года,

страх его был так же силен, как в тот день, когда он остался в дрянной гостинице.

— Какой ужас,— прошептала Рене.

Погрузившись в раздумье, она разглядывала узор на обоях, и я не без злорадства отметил, что ее гложет раскаяние. Я взял ее за руки и, глядя в глаза, тоном преданного друга сказал:

— Рене, дорогая, я уже жалею, что так разволновал вас. Надо было подождать еще несколько дней. Я напрасно поспешил. Да-да, надо было подождать, пока вы сами все поймете. Ну, постарайтесь выбросить из головы то, что я наговорил, и не думать об этом хотя бы до завтра. Время уже позднее. С минуты на минуту вернется ваша кухня. А я еще поразмыслю об этом деле, наведу, если понадобится, справки, и завтра вечером, на трезвую голову, мы еще раз все обсудим у вас дома.

Рене бросилась мне на шею, бормоча, что она так любит, так любит меня. И я подумал, что, должно быть, становлюсь кандидатом в мужья.

ХII

На другое утро страх быть застигнутым врасплох поднял меня с постели чуть свет, так что в половине восьмого я уже вышел из дому. Безоблачное небо сияло. Было сухо и не по сезону холодно. Я пошел по улице без определенной цели, лишь бы убить время и как-нибудь скоротать предстоящий длинный день тоскливого одиночества. Идти в агентство было небезопасно — Жюльен мог устроить мне там западню, и я решил оставить недоделанные дела как есть и пока не заниматься ими. Можно было ручаться, что до самого вечера, до свидания с Рене, я не встречу ни одного знакомого. Прослонявшись битый час по парижским улицам, я ощутил смертельную усталость, и вместе с нею

пришло другое чувство: мне стало тошно.

Все мои злоключения вдруг стали мне безразличны. Так, верно, бывает с человеком, которому давно осточертела жизнь. Необычайность всего случившегося не вызывала во мне ни гордости, ни изумления — вообще никаких эмоций. В то утро я ясно понял, что ничто на свете не может быть таким пресным, таким отчаянно скучным, как исключение, аномалия, невидаль, чудо. Ничто не говорит так мало уму и сердцу. Чудо, со злостью думал я, это сухой ствол без корней и без ветвей. Удивительно, что все религии словно сговорились считать его проявлением божества. Чего ради стал бы Бог противоречить сам себе, отрицать свои собственные установления, лишать самого себя опоры? Если следовать этой логике, то чудеса суть не что иное, как проявление бесовского начала, козни какого-нибудь шкодливого, скудоумного, мелкотравчатого черта. И только вера может поразить воображение и наполнить душу восторгом. Меня же Бог покинул. Ничего хорошего, ничего даже мало-мальски интересного от превращения я уже не ждал. Даже в лучшем случае, если Рене согласится уехать со мной, мне придется строить новую жизнь на постыдном, тягостном обмане. А чтобы подкрепить этот изначальный обман, я буду вынужден громоздить одну ложь на другую. Понадобится, например, изобрести предлог, чтобы покинуть Париж, еще один — чтобы избежать встреч с дядей Антоненом, понадобится объяснить, почему у меня нет родни, оправдать меры предосторожности, без которых я не смогу обходиться, — и вообще придется постоянно быть готовым к самым непредвиденным вопросам. Собственные дети будут относиться ко мне как к непрошеному чужаку, а может, даже возненавидят. Нельзя сбрасывать со счетов и материальные трудности, а я не настолько предприимчив и энергичен, чтобы преодолеть их. Рене же будет переносить их мужественно, но отнюдь не безропотно. И уж конечно, сумеет отравить мне жизнь постоянными вздохами и намеками на то, что прежде она жила в полном достатке. Значит, остается бросить жену, детей

и начать жизнь сначала, но на это у меня и подавно не хватит пороку. Не так-то легко в тридцать восемь лет заново родиться на свет, очутившись без всякой опоры в прошлом и в будущем. Единственное, чего мне хотелось, это перестать быть исключением из правил и снова зажить, как все нормальные люди. Так думал я, стоя на железнодорожном мосту, что на улице Рике, и глядя вниз, на рельсы, пакгаузы, газгольдеры, тянущиеся до самого предместья Обервилье. Здесь, на стыке кварталов Шапель и Виллет, выстроились в ряд одинаковые дома, подставлявшие солнечным лучам свои фасады, покрытые пятнами копоти, как застарелыми язвами. Под мостом проехал паровоз, и меня обдало струей серого, густого, зловонного дыма, моментально пропитавшего мою одежду и забившегося в ноздри. Непреодолимое отчаяние овладело мной. И я отдался ему с каким-то даже наслаждением. Как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь — сохраню ли я семью или останусь один,— вся она представлялась мне похожей на это унылое предместье: сплошные рельсы, бараки, дома в лишаих — суррогат, подделка, мертвая декорация, застывший кошмар, наваждение, обитель неприкаянных душ. Я остановил такси и велел водителю ехать на улицу Коперника, где жил Жюльен. Половина десятого. Жюльен наверняка еще дома — он всегда поздно ложился. Мой приход будет для него неожиданностью, зато ничего неожиданного не будет для него в признании, которое я собирался сделать. С первой же нашей встречи он заподозрил, что я убил его друга Серюзье, а теперь имел все основания полагать, что опасался не напрасно. Я же, сидя в машине, которая везла меня к его дому, вдруг успокоился и почувствовал облегчение. Наконец-то все объяснится по-человечески, и я окажусь тем, за кого меня принимают. Признаюсь и сразу обрету определенность, которой мне так не хватало. Займу свое законное место. В конце концов кто, как не я, несет ответственность за исчезновение Рауля? Я и есть его убийца — мне не потребовалось никаких замысловатых софизмов, чтобы убедить себя в этом. Так

что в дверь Жюльена я позвонил решительно и хладнокровно. Мне открыла седая женщина в очках, секретарша Жюльена, которую я не раз видел у него.

— Господина Готье нет дома,— сказала она.

Этого я совсем не ожидал и воскликнул чуть не со злостью: — Надо же! Всегда торчит дома до одиннадцати, а тут нá тебе...

— Вы договаривались о встрече?

— Нет. А где его можно застать?

— Он не сказал, куда идет. Но, по-моему, он ушел надолго и вернется не раньше обеда.

— Что ж, тем хуже для него. Передайте ему, пожалуйста, что к нему заходил убийца Рауля.

— Непременно,— любезно ответила почтенная дама.— Господин Готье будет весьма огорчен, что вы его не застали.

Позднее я узнал, что она приняла меня за киноактера, назвавшегося персонажем, которого играл в каком-то фильме, сочтя, что так Жюльен его скорее вспомнит. Впрочем, я отрекомендовался убийцей вовсе не из желания удивить или напугать старушку. Таким образом я связывал себя, отсекал искусительную возможность передумать. И не зря, так как едва только дверь закрылась, я уже невольно пожалел о сказанном. Отчаянные решения нужно приводить в исполнение с ходу, второй попытки они не выдерживают. Однако после минутного колебания моя решимость все же устояла, и с улицы Коперника я уверенным шагом направился на улицу Четвертого Сентября. Люсьене я исповедоваться не собирался. У меня не хватило бы духу сказать ей, что Серюзье нет в живых. Но мне пришлось в голову, что Жюльен, может быть, пошел к ней. Для того чтобы он вылез из дому в такую рань, должна была быть исключительно важная причина. Вполне возможно, что после вчерашнего разговора они решили встретиться еще раз, сегодня, чтобы поделиться, кому что удалось узнать об интересующем их деле, и решить, что делать со мной.

Госпожа Бюст, успевшая выздороветь, сказала мне, что Люсьена в кабинете начальника принимает посетителя,

и охотно сообщила его имя. Господин Жюльен Готье.
— Если хотите, я скажу мадемуазель Люсьене, что вы пришли.

— Благодарю вас. Я не спешу.

— Это, может быть, надолго. Господин Готье ждет звонка.

Я сел на один из двух стоявших в приемной стульев, в простенке между моим кабинетом и окошечком госпожи Бюст. Голоса Люсьены и Жюльена доносились из-за стены глухо, впрочем, я и не прислушивался. Мне было почти безразлично, о чем они там толкуют. Я не спеша примерялся к новой роли, с удовольствием убеждаясь, что чувствую себя в ней уверенно. Это чувство было мне знакомо: я вспомнил, как однажды утром проснулся в таком же настроении, перед тем как обновить костюм, который, как я знал, особенно хорошо сидел на мне. Зазвонил телефон.

— Алло, да, сейчас соединяю,— сказала госпожа Бюст и звякнула трубкой.

— Это звонят господину Готье,— пояснила она мне.— Господин Фенелон, эксперт-графолог.

Слова ее словно вывели меня из оцепенения. Вернулась недавняя стремительность и настороженность преследуемого по пятам. Бывает, что пойманный в ловушку и уже смирившийся было зверь вдруг находит лазейку и стремглав бросается в нее, так и я, поняв вдруг, что еще есть выход, пробудился от сонной покорности и весь напрягся. Жюльен старался говорить громко и отчетливо, чтобы господин Фенелон лучше слышал его, так что и я без труда различал каждое слово.

— Алло. Да. Прекрасно. Так. Значит, вы убеждены, что почерк, которым написано письмо из Бухареста, идентичен образцу? Вероятность ошибки ничтожна. Так-так. Я понял. Практически не подлежит сомнению.

Не дожидаясь конца разговора, я направился к выходу, объяснив госпоже Бюст, что у меня срочное дело и я зайду позже. Я шел вниз напевая, а под конец пустился по лестнице вприпрыжку. Итак, бесспорно доказано, что Серюлье

жив-здоров и скорее всего действительно находится в Бухаресте, если только, конечно, его не похитили и не держат взаперти. Из этого следует, что я — вполне безобидный тип, которого можно оставить в покое. Вернется Серюзе, ему расскажут о моих фокусах, и он сам решит, что со мной делать. Получив заключение эксперта, Люсьена и Жюльен могли рассуждать только так, и это давало мне драгоценную отсрочку. Теперь мне ничего не стоило рассеять и сомнения дяди Антонена. Экспертиза, установившая, что Рауль жив, для него будет подтверждением того, что прежнего Рауля не существует и что его преобразование — подлинный факт. А ведь меня потому и захлестнуло отчаяние, что дядя перестал мне верить и я остался совсем один, теперь же вместе с надеждой восстановить его доверие ко мне возвращалась жизнь. Как-никак дядино участие поможет мне уладить дела с Рене. Впрочем, у меня появилось время, а стало быть, отпадала необходимость ускорять ход событий.

Я весело шагал по бульвару Капуцинов, глаза на прохожих и на витрины. В одной мне бросилась в глаза написанная крупными буквами реклама: «ПОСЕТИТЕ РУМЫНИЮ». Ухмыльнувшись, я пошел было дальше. Но не успел отойти на несколько шагов, как застыл, словно передо мной разверзлась пропасть. Веселья как не бывало. В памяти у меня всплыли слова, сказанные секретарше Жюльена: «Передайте ему, пожалуйста, что заходил убийца Рауля». Пропал, решил я в первый момент. Сказанного не вернешь, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предугадать, как воспримет эту злосчастную фразу Жюльен. Разумеется, узнав об этом посещении и справившись у секретарши о внешности гостя, он поставит на ноги полицию. Удар был сокрушительный, но я не позволил себе вновь поддаться отчаянию, как только что, когда уже готов был признаться в преступлении, которого не совершал. Нет, я твердо намерен был обороняться. И успокаивал сам себя. В конце концов, вовсе не обязательно, чтобы Жюльен расценил мои слова как признание. Возможно,

он усмотрит в них иронический и горький намек на его подозрения, которые он дал мне явственно почувствовать в конце нашей первой беседы. И может быть, есть способ исподволь внушить ему именно это толкование. Я стал думать, как бы это сделать, но в возбужденном мозгу мысли беспорядочно скакали, оттесняя друг друга, так что сосредоточиться на какой-нибудь одной было просто невозможно. Не разбирая дороги, я несся куда-то вперед, и с такой же бешеной скоростью мелькали мои мысли, я просто не мог совладать с ними. К половине первого я еще не надумал ничего толкового и дал себе зарок не идти обедать до тех пор, пока не найду плодотворную идею. Однако ничего умнее, чем просто-напросто пойти к Жюльену и рассказать ему все как есть, я так и не изобрел.

Между тем ноги занесли меня за городскую заставу, я очутился на каких-то окраинных улочках, должно быть, где-нибудь в Аньере или в Леваллуа. Чуть живой от голода и, главное, от усталости, я набрел на какое-то заведение в мещански-провинциальном вкусе, совмещавшее бильярдную, «банкетно-свадебный зал» на втором этаже и большое кафе на первом, и решил зайти туда. Зал кафе был разделен надвое стойкой, и дальний его конец в обеденное время превращался в ресторанчик. Из шести столиков только два были заняты, я сел за третий. По соседству со мной сидела пара: пышная брюнетка лет тридцати, вся в украшениях, и рядом с ней лысый толстяк лет пятидесяти с лишком. Дама энергично жевала и с набитым ртом гнусаво распекала своего спутника, негодуя сверкая на него темными, довольно красивыми глазами и замолкая лишь затем, чтобы проглотить пищу или отхлебнуть большой глоток вина. Он же сидел с виноватым видом, не прикасаясь к еде, и все повторял: ну будет, будет, моя птичка, моя козочка! Поминутно он снимал со спинки стула котелок, щелчками стряхивая с него приставшие опилки — не иначе как шляпа побывала на полу, — и вешал обратно. Все это еще больше распаляло женщину. «Ты меня просто оскорбил, Викторьен, — говорила она. — Ты вел себя позор-

но. Весь автобус возмущался, как этот тип глазел на мою грудь. Ждали, когда ты наконец встанешь и дашь ему по морде. Я думала, у тебя есть хоть какое-нибудь чувство чести, но какое там: пусть на меня пялятся все мужчины подряд, ты и пальцем не пошевелишь. Мужлан, да и только. Я прямо не знала, куда деваться от стыда. Положим, не он первый на меня заглядывается. Ваш брат на меня всегда клюет. Да-да, намотай это себе на ус, Викторьен. Но есть же правила приличия. И потом, порядочного мужчину с утра на женщин не потянет! Ты бы должен это знать, но куда тебе! Хоть ты и набит деньгами, да неотесан. Перестань теревить эту несчастную шляпу!»

Я был не в том настроении, чтобы развлекаться зрелищем этой семейной сцены. Но густое брюзжанье брюнетки, прерываемое равномерными паузами — когда она глотала очередной кусок, — убаюкивало, притупляло тревогу и усталость. Я завидовал людям, занятым такой пустячной, но такой земной ссорой, — никаких тебе фантастических превращений. Мне хотелось очутиться на месте мужчины. Представляю, как бы я вопил, какие изрыгал проклятия, может, даже выбил бы зуб этой строптивой бабенке, с каким наслаждением я бы раздувал скандал, упивался бы его добротной заурядностью и несокрушимой пошлостью. Напротив меня за единственным во всем ряду занятым столиком сидел молодой человек, он читал газету и время от времени поглядывал на часы. Без четверти два он встал, оставив в тарелке недоеденный сыр, и направился к телефонной кабине, расположенной под лестницей, которая вела в банкетный зал. Как только он вошел, кабина осветилась изнутри, и на матовом стекле дверцы задвигалась его тень. Сидевшая за стойкой хозяйка вязала, отрываясь через равные промежутки времени, чтобы одарить обедающих благожелательной улыбкой. Из бильярдной глухо доносились треск сталкивающихся шаров и редкие восклицания игроков. Молодой человек вышел из кабины и пожаловался официанту, что его не соединили. В течение следующего полчаса он то и дело подходил к телефону

и безуспешно пытался кому-то дозвониться. Он явно нервничал, и в конце концов его взволнованный вид вернул меня к моим собственным тревогам. У меня шевельнулась мысль, не позвонить ли Жюльену, но я слишком разомлел от усталости и горячего сытного обеда, чтобы взвесить все за и против. Брюнетка тем временем принялась за третье блюдо и заказала еще вина. «Интересно знать, за какие такие твои достоинства я с тобой вообще живу?» — уже в который раз повторила она, отхлебнула вина и, не стесняясь в выражениях, напомнила своему приятелю о его физических недостатках, которые он предпочел бы не оглашать. Тут терпение Викторьена лопнуло. «Ну, это уж слишком», — сказал он, достал бумажник и взял в руки кошелок. Конечно. В глазах брюнетки мелькнул испуг, и сейчас же взгляд ее стал умильным, она придвинулась к Викторьену и хищно обхватила его за талию. Он порывался встать: хватит, хватит с него. Но она приблизила губы к его лиловому волосатому уху и что-то зашептала. Мужчина сидел ко мне спиной: я увидел, как побагровела его лысина и раздулась втиснутая в жесткий воротничок шея. Это было впечатляющее зрелище. В конце концов пара заказала кофе с ликером, я тоже спросил кофе и рюмку коньяку, от которой меня совсем разморило. Я слышал, как кто-то из играющих в бильярд положил четыре шара подряд, как негромко перебрасывались колкими репликами мужчина и женщина за соседним столиком, как закашлялась хозяйка, а потом меня обволокла тихая благодать забытья. И вдруг дверца телефонной кабины распахнулась с такой силой, словно внутри что-то взорвалось, и из нее выскочил молодой человек с криком: — Письма написаны не одной рукой! Рауль де Сен-Клер бежал, выдав себя за другого!

В зале зашумели, гул голосов нарастал, приближался, вот он уже перекатился через стойку. Я видел, что все взоры устремлены на меня. Из-за соседнего столика поднялись и насмешливо и угрожающе глядели брюнетка с кавалером. Со стороны стойки подступали хозяйка, официанты и бильярдисты, голоса их сливались в возмущен-

ный хор. Бежать было некуда. Холодный пот прошиб меня. Все же я вскочил и забился в телефонную кабину. Сзади грохотали шаги, словно за мной гналась целая армия. Я хотел запереться изнутри, но вдруг оказалось, что у двери нет петель, ее даже не надо было толкать, чтобы открыть: она шаталась, болталась, и ее никак нельзя было приладить, чтобы где-нибудь не осталась щель. Я вынул из кармана нож, но лезвие его почему-то проваливалось в рукоятку при малейшем нажиме. Правда, обступившие кабину враги, к счастью, не подозревали об этом изъяне, и вид оружия держал их на расстоянии. Свободной рукой я схватил трубку, но так неловко, что оборвал провод. И тотчас услышал спокойный и доброжелательный голос хозяйки: «Ничего страшного, возьмите провод и говорите так». Я послушался и, поднеся к губам конец провода, сказал: — Соедините, пожалуйста, с Господом Богом.

— Минуточку,— ответил голос госпожи Бюст.— Алло, это Господь Бог? Вас спрашивают, соединяю.

— Говорит Рауль Серюрье с улицы Коленкура. Моя жена никогда ни во что не верила, а я верил. Верил, Господи!

Я подождал ответа, но Бог безмолвствовал. Тогда я подумал, что надо бы выдумать что-нибудь такое, чтобы расположить его к себе, и выпалил первое, что пришло в голову. Вообще во сне я часто бываю далеко не так порядочен и смел, как наяву. Проснувшись, я порой чувствую себя неловко и думаю: «Кто знает, может, по сути...»

— Господи,— начал я несчастным голосом,— я тружусь в поте лица своего, чтобы прокормить пятерых детей, но как ни тяжело мне приходится, все же пользуюсь каждой свободной минуткой, дабы укрепить их в вере. Я говорю им: лучшее доказательство существования Бога заключается в том, что тела притягиваются друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Заметьте, какое удачное совпадение: именно квадрату, это так удобно. А ведь степень могла бы оказаться и дробной. Случай не питает пристрастия к целым числам,

он слеп. Из этого следует, что сила тяготения подчиняется сознательно установленному закону.

— А вы не дурак,— сказал Господь, и по его тону я понял, что он польщен. В тот же миг я узрел его в образе одного из моих бывших учителей, которого в свое время бессовестно изводил. Это меня приободрило. Бог принялся доказывать какую-то геометрическую теорему, но я перебил его на полуслове: — Вы случайно не знаете, почему это я вдруг перестал изменяться по падежам?

— Что? — вскричал Бог.— Это ужасное недоразумение. Вы для того и созданы, и созданы, для того, для того...

Тут он начал то ли от гнева, то ли от огорчения заикаться, потом исчезли его ноги, руки, он превратился в гипсовый бюст с каминной полки, а затем и вовсе растаял. Дверь кабины, должно быть, снова обрела петли, так как она оказалась плотно закрытой. Теперь она вела прямо на какой-то пустырь, где были одни камни, и между ними пробивалась трава, пустырь этот тянулся вдаль и уходил куда-то в темь или топь, о которой я до сих пор не могу вспомнить без содрогания. Перед дверью стояли двое: хозяйка кафе и полицейский в штатском. Было темно, как в освещенном тусклой лампочкой сарае, так что их лица казались сотканными из полумрака, а серая одежда почти сливалась с окружающей мглой. Никакой враждебности в них как будто не чувствовалось, но полицейский, посмотрев в мою сторону, апатично проговорил: «Надо просто надуть дверь. У меня при себе инструкция». Он достал насос, надел его шланг на шпенек щеколды, как на ниппель велосипедной камеры, и принялся накачивать. Дверь стала разбухать и напирать на меня выпуклым брюхом. Ужас сковал меня. Раздувшись до чудовищных размеров, дверь притиснула меня к стене. Я хотел позвать Бога, но забыл его имя. Эта кабина станет моей могилой! Вот уже больно сдавило все тело, а живот совсем расплющился: дверь словно бы доросла до самой стенки, к которой я был прижат спиной. Я понял, что умираю.

Зал опустел, все посетители разошлись. Заснув сидя, я

так навалился на столик, что край его больно давил мне на желудок. Около стойки томился официант, учтиво дожидаясь, пока я проснусь. Не посмев заказать еще чашечку кофе, я расплатился и встал из-за столика. Меня знобило, ноги и руки словно налились свинцом. Выйдя на улицу, я поразился резкой перемене погоды: стало пасмурно и очень холодно. От нездорового сна и слишком плотной еды на меня напала одурь, все утренние треволения были мне теперь совершенно безразличны. Несколько раз я сбивался с пути и чуть не целый час проплутал по безликим улицам, напоминавшим мой недавний кошмар. Наконец я выбрался к заставе, только не к Аньерской, а к заставе Шампере. От долгой ходьбы я устал до изнеможения, но озноб так и не прошел. Было часа четыре. Я легко уговорил сам себя, что звонить Жюльену уже поздно — наверняка он успел уйти из дому. Это было нетрудно проверить, но я не мог заставить себя зайти в уличную телефонную кабину или даже в кафе, хоть мне очень хотелось хлебнуть чего-нибудь согревающего. Угнетающее чувство тяжести в желудке подавляло мою волю — прежде со мной никогда такого не бывало. Но вот мне попался кинотеатр, и я подумал, не зайти ли, прельщенный не столько картиной, сколько возможностью посидеть в тепле, отдохнуть, забыться. Конечно, негоже терять целых два часа, когда нужно безотлагательно действовать, но я, как тогда во сне, подумал: «Чему быть, того не миновать».

Фильм уже начался, в темноте я отыскал свое место и сел. На экране действовали энергичные молодые американцы, успешно дебютировавшие в любви и в бизнесе. Герой — мелкий клерк, небогатый, но подающий надежды, героиня — хорошенькая секретарша, честная, неунывающая девушка, оба чрезмерно обаятельные и жизнерадостные. Я больше не вспоминал о своем кошмаре. Мне было тепло, я с удовольствием смотрел на экран, дурнота и усталость бесследно прошли. Я утопал в каком-то бездумном, почти животном блаженстве, и только иногда в сознании вспыхивала мысль о том, что это лишь временная

передышка,— вспыхивала и исчезала. От сидевшей рядом со мной женщины исходил тонкий аромат духов; насколько я мог разглядеть в темноте, она была молода и хорошо сложена. Она уронила сумочку, я поднял ее, она мило поблагодарила. Тут я вспомнил, что я теперь красавец. Вообще-то обычная в кинозалах тайная возня в потемках не в моих вкусах и привычках, но как хорошему певцу все время хочется петь, так красавцу мужчине невтерпеж пустить в ход свой талант. И я стал потихоньку прижиматься к соседке. Она не отстранялась, но и не поощряла меня, видно, дожидалась перерыва, чтобы не попасть впрок: вдруг я окажусь уродом или стариком. Я же самодовольно предвкушал, как она оттает, когда увидит при свете мою неотразимую физиономию. Впрочем, заходить особенно далеко я не собирался, мне просто хотелось, чтобы после фильма она пожалела о том, что мы расстаемся. Наши плечи и колени соприкасались, когда зажегся свет. Я первым взглянул на соседку и убедился, что мне повезло. Это была миловидная молодая женщина с тонким профилем, элегантно одетая. Когда же и она посмотрела на меня, я постарался встретиться с ней взглядом. Но в тот же миг она отвернулась, отдернула колени и отодвинулась подальше. Было яснее ясного, что она не желает продолжать игру. Это обескуражило и несколько задело меня. С тех пор как я стал красавцем, я привык к другому приему, и подобная неудача была для меня полной неожиданностью. В утешение себе я решил, что моя соседка, должно быть, из тех женщин — а их немало, — которые предпочитают мужчинам с утонченной, по-настоящему привлекательной внешностью тип здорового волосатого самца, мало чем отличающегося от животного.

Выйдя из кино, я сел у заставы Шампере в автобус и доехал до площади Клиши, а там поднялся пешком до улицы Коленкура. Было половина восьмого. Я уже раскаивался, что потратил день впустую и по малодушию осложнил свое и без того непростое положение. Пытаясь обмануть собственную совесть, я решил перед ужином зайти к

себе и позвонить Жюльену, хотя отлично знал, что не застану его. У самого дома я собрался купить в киоске вечернюю газету и уже протянул было руку, как продавщица любезным голосом сказала: — Ваша супруга уже купила эту самую газету минут пять тому назад.

Я пробормотал извинения. Очевидно, она меня с кем-то спутала, но, не желая вдаваться в объяснения, я взял другую газету и без всякого интереса пробежал глазами заголовки. Мысли мои были заняты Сарацинкой. Сейчас в кафе Жюно она, возможно, уже ждет меня, и ждет напрасно, потому что я должен идти на свидание с собственной женой. Как все же досадно! У подъезда мне встретился владелец одного из ближайших магазинчиков, которого я знал целую вечность.

— Добрый вечер, господин Серюзье.

ХІІІ

Не дожидаясь лифта — он ушел у меня прямо из-под носа, — я взбежал на свой шестой этаж по лестнице. Руки у меня так дрожали, что я долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Я уже знал, что покажет мне зеркало, и все-таки, увидев в нем свое прежнее лицо, испустил вопль — не знаю уж, чего в нем было больше: радости или разочарования. Что и говорить, избавиться вот так, нежданно-негаданно от опасности, из-за которой в последние два дня я буквально не знал ни сна, ни отдыха, было изрядным облегчением. Все теперь пойдет как у людей, своим чередом. И однако, опустившись на подлокотник кресла и свесив руки между колен, я думал о возвращении в привычную колею без особого восторга.

Несколько раз я вставал и не без тайной надежды снова смотрелся в зеркало. И каждый раз меня коробило, я не мог видеть собственное лицо без омерзения. Вот

когда я по-настоящему понял, насколько мрачна, вульгарна и непривлекательна моя физиономия. Меня пронзило сожаление о том, другом лице, которое я только что утратил. Я корил себя за то, что оказался недостойным его. История с превращением представлялась мне теперь неким захватывающим приключением, милостью судьбы, которой я не сумел толком воспользоваться. Всевышний сжалился, глядя на мое убожество, на мое тусклое прозябание, и дал мне шанс подняться, волшебный шанс, о каком люди не смеют и мечтать, я же остался глух к этому зову фортуны. Я помышлял только о том, как бы вернуть свою жену, свою работу, свою любовницу, так и этот перетасовывая старую колоду. Упорно пытался перекроить обноски, вместо того чтобы отбросить их, сжечь за собой все мосты, благо представлялся случай! Вот и сегодня вечером собирался ради законной жены пожертвовать свиданием с Сарацинкой, с этой дивной женщиной, которая раньше, до превращения, на меня и не глядела. Я упустил ее по собственной воле, и даже не из любви к Рене, а из-за того, что соскучился по своему гнездышку, по привычной обстановке, по домашним тапочкам. Вот Бог и проникся ко мне отвращением и взял мою красоту назад.

Образ Сарацинки неотвязно преследовал меня — она стояла у меня перед глазами. Чтобы отделаться от этого наваждения, я стал собираться. Уложил дорожный чемоданчик, следя, чтобы туда не попала ни одна вещь, в которой Рене могла бы опознать собственность своего возлюбленного. Вообще-то это было не так уж и обязательно. Как ни удивится Рене, увидев на мне часы или, скажем, пижаму, которые могли бы меня уличить, она легко поверит любому моему объяснению, но мне не хотелось ничего выдумывать. Я снял новый костюм, переменял белье, галстук, переобулся, надел тот темно-серый костюм, в котором уезжал в Бухарест, и уже стоял перед зеркалом одетый, когда позвонила Рене и сказала, что ждет. Служанка ушла, дети спят. Тихо, боясь, как бы голос не выдал меня, я ответил, что спущусь к ней через четверть часа.

В самом деле, здесь мне, пожалуй, больше нечего было делать. Я взял плащ, шляпу, чемоданчик и вышел: ключ оставил в замке с внутренней стороны, дверь захлопнул. Через несколько недель владелец дома с комиссаром и слесарем проникнут в квартиру, станут искать труп.

На пятом этаже дверь была не заперта, я нажал ручку и вошел. И тут же в дальнем конце коридора появилась Рене в белом атласном пеньюаре, отороченном лебяжьим пухом,— этот туалет, должно быть, тоже обошелся недешево. Вовремя же я вернулся. Рене ждала на пороге спальни, поза и освещение явно были продуманы заранее. А я стоял в темном коридоре и смотрел на жену со зловещей радостью людоеда. Когда же она пошла мне навстречу, я повернул выключатель. «Рауль!» — воскликнула она и протянула ко мне руки. Я жадно вглядывался в нее, ища признаки смятения. Действительно, Рене вздрогнула, побледнела и смотрела на меня, хлопая расширившимися глазами, однако все это длилось считанные секунды. И могло сойти за вполне оправданное удивление.

— Милый,— радостно сказала Рене и поцеловала меня.— Я так и знала, что ты вернешься сегодня вечером. У меня еще с утра появилось предчувствие.

Тут она отступила на шаг и, демонстрируя свой наряд, тихо прибавила с невинным и чуть лукавым видом:

— Видишь, я тебя ждала.

Насколько я знал Рене, умышленная ложь всегда претила ей. И меня неприятно поразило, с какой легкостью она соврала на этот раз.

— Очаровательно,— только и выговорил я, растерявшись.

Мы прошли в спальню. Рене спросила, хорошо ли я закрыл дверь.

— Кажется, да,— ответил я неуверенным тоном, чтобы у нее осталось сомнение.

— Я схожу проверю.

— Успеется. Кто может прийти к нам в такое время? Расскажи лучше, как дела у детей.

Настаивать Рене не посмела. Она говорила спокойно,

не переставая улыбаться, но временами голос ее вдруг срывался и она бросала быстрый взгляд в сторону прихожей. Ей пришлось терпеть добрых четверть часа, пока наконец я не снял пальто,— это дало ей предлог выйти, чтобы отнести его на вешалку. Сейчас же я услышал, как захлопнулась входная дверь. Теперь Рене могла не опасаться, что ее возлюбленный, неслышно прокравшись по темному коридору, поскребется в дверь спальни. Когда она вернулась, я прочитал на ее лице полную умиротворенность. Она устроилась в кресле, положив ногу на ногу и покачивая изящной белой туфелькой без задника. Эта раскованная поза, этот приветливый и благосклонный взгляд заставили меня пожалеть, что пытка ее кончилась так быстро. И только Рене принялась расспрашивать о поездке, как я поднял палец и тихо сказал: «Кто-то стучится». Рене вскочила так поспешно, что ее туфля отлетела в сторону, но поднимать ее она не стала, а прямо так, полуразутая, припадая на одну ногу, бросилась к двери.

— Не ходи, я открою сама!

— Но ты не одета,— возразил я, уже переступая порог.

Я пошел по коридору, а Рене высунулась из спальни.

— Рауль, не ходи, прошу тебя! Может быть, это опасно! Рауль! — так громко, что ее наверняка было слышно этажом выше, крикнула она.

Я выглянул на лестничную площадку, снова закрыл дверь и вернулся в спальню. Рене уже сидела в прежней позе, поигрывая туфелькой, и смотрела на меня с ласковой насмешкой. Мы вернулись к прерванному разговору. Она явно выиграла духом, радуясь своей находчивости, выручившей ее из опасного положения.

— В общем,— сказала она, выслушав мой рассказ,— ты, можно сказать, съездил впустую.

— Результаты и правда незавидные,— ответил я.— Я надеялся на большее. Все было против меня. Не мог же я предвидеть, что цены на металл катастрофически упадут на третий день после моего приезда.

— Ну ладно. Тут твоей вины нет: ты никогда не отли-

чался умением предвидеть. Что поделаешь? Но скажи на милость, почему, раз уже на третий день стало ясно, что нет никаких шансов заключить сделку, ты не сразу поехал домой?

— Понимаешь, просто не мог. Все время надеялся: вдруг все-таки удастся что-нибудь сделать, надо же было хоть окупить поездку.

— Бедняжечка ты мой, видно, уж какой ты есть, таким и останешься. Ну да ничего, я рада, что ты наконец дома, — сказала Рене, снисходительно и ободряюще улыбаясь мне.

А я вдруг понял, что оправдывался перед ней, словно был в чем-то виноват. У Рене так давно вошло в привычку читать мне подобные нотации, а я так давно привык безропотно и боязливо их выслушивать, что и на этот раз по инерции подчинился ее покровительственному тону и, забыв о своей роли мужа-обличителя, смиренно склонил перед ней голову. И хотя вопрос был уже исчерпан, так что возражать не имело смысла, я самым нелепым образом раскипятился.

— Хорошенькая встреча! — сказал я и усмехнулся. — Три недели меня не было дома, и вот я возвращаюсь только для того, чтобы выслушивать от жены, что я тупица и что я, увы, какой уж есть, таким и буду. Нечего сказать, приятно! Может, я явился не вовремя, нарушил твои планы, скажи уж прямо!

Последняя фраза показалась мне особенно хлесткой и меткой. Выговаривая ее, я словно смотрел на себя со стороны: и тон, и выражение лица — все как нельзя лучше подчеркивало содержащийся в словах намек. Но я не учел главного. Образ, который рисовался в моем воображении, вот уже несколько часов как перестал соответствовать действительности. И я вскоре заметил это, увидев в зеркале свое подлинное лицо. Это внезапное напоминание неприятно поразило и окончательно взбесило меня.

— Послушай, Рауль, это смешно. И ты сам понимаешь, что не прав, — с мягким упреком сказала Рене.

— Конечно, тебе смешно, я это и так знаю, можешь

не объяснять. Я уже давно понял, как ты ко мне относишься и что́ я, по-твоему, за тип. Во-первых, я, вот именно, смешон. Далее: я мужлан, к тому же толстокожий. Мне известно, что, выйдя за меня, ты совершила ошибку. Что все годы, которые мы прожили вместе, ты старалась как-нибудь приспособиться и извлечь из этой ошибки пользу. Мне не хватает тонкости, обаяния — в общем, того, что нужно женщине для счастья. Одно слово — мужлан. Да-да, ничего другого я от тебя и не жду. У тебя, правда, хватает терпения жить с такой посредственностью, как я, но скрыть от мужа, что́ ты о нем думаешь, это уж тебе не под силу. Или, вернее, ты всегда считала, что я, по своей толстокожести, ничего не пойму.

Рене поднялась с кресла и смотрела на меня, вытаращив глаза. Она была настолько поражена, услышав из моих уст свои собственные жалобы, к тому же повторенные слово в слово, что даже не пыталась возражать. В полном замешательстве она смогла только пожать плечами, а это еще подхлестнуло меня:

— Ну правильно, ты меня презираешь — это у тебя всегда отлично получалось. Продолжай в том же духе. Чего стесняться! Толстокожий мужлан все стерпит. И даже брыкаться не станет. Мужей надо уметь держать в узде, ежедневно управлять каждым их шагом, и тогда из них можно веревки вить. Прекрасно придумано! Но в один прекрасный день мужу может прийти в голову, что вовсе не обязательно всю жизнь ходить на задних лапках перед своей придирчивой женошкой. Если хочешь знать, я поехал в Бухарест вовсе не по делам, а просто потому, что мне все осточертело: и эта спальня, и ты сама с твоим приторным благонаравием. И не собирался возвращаться. Это было чудесное путешествие, какого твой меркантильный умишко не может и представить. И чего только ради я поддался каким-то дурацким угрызениям совести и вернулся в эту затхлую конуру! Передо мной открывался целый мир, я мог ехать куда угодно, мог делать что хочу, так нет же — надо мне было снова замуровать себя в четырех стенах,

чтобы тут плесневеть и тупеть.

Меня душили злость и досада. Я словно видел перед собой бурные реки, тропические леса и виноградники, небоскребы и китайские храмы. Я думал о Сарацинке и тщетно звал ее. Рене же, вначале ошеломленная моей пронизательностью, постепенно приходила в себя и подыскивала убийственные слова, чтобы осадить меня, как она умела. В ее сощуренных от напряжения глазах уже блеснула идея, но едва она открыла рот, как я повернулся к ней спиной и шагнул вон из спальни, бросив на ходу:

— Ноги моей здесь больше не будет.

Рене вскрикнула, кинулась за мной, снова вскрикнула и разрыдалась. Но поздно, меня уже ничто не могло удержать. Я еду назад в Бухарест, начинаю новую жизнь. Выскочив из дому, я, не колеблясь и не задумываясь ни на секунду, направился на проспект Жюно. Прошел дождь, фонари отражались в лужах на тротуарах. Какой-то озябший бродяга с окурком во рту попросил прикурить, а когда я, не ответив, прошел мимо, мрачно произнес: — Вот так всегда. Даже когда им это ничего не стоит.

Едва войдя в кафе, я сразу заметил Сарацинку. Она сидела в дальнем конце зала, одна за столиком, читала газету и помешивала ложечкой кофе. Я пошел прямо к ней. Услышав, что кто-то подходит, она подняла голову, взглянула на меня, но тотчас снова углубилась в чтение. Я сел за соседний столик лицом к ней и не сводил с нее глаз. Мне казалось, что ее склоненное над столиком лицо светится потаенной радостью. Несколько раз, не поднимая головы, она бросала взгляд на дверь, в ее черных глазах вспыхивало беспокойство и нетерпение. И меня жгла мысль: «Она ждет меня. Думает обо мне». В зеркале, висевшем за спиной у Сарацинки, я натькался взглядом на свое отражение, но старался не видеть его, глядеть только на ее лицо и все еще надеялся на чудо. Вот она сложила газету, подняла голову и осмотрелась по сторонам. Ее взгляд скользнул и по мне, но не задержался ни на секунду, словно я был неодушевленным предметом. Я по-

чувствовал себя заживо погребенным, задыхающимся под гнетущей тяжестью и лишенным возможности подать признаки жизни. Наконец я заставил себя встать и сделать несколько шагов к ее столику. Она приняла меня за навязчивого кавалера и нахмурила брови. Я пролепетал:

— Простите, мадам, Сарацинка — это вы?

Удивленная, а больше настороженная таким вопросом, она утвердительно кивнула. Подходя к ней, я еще не знал, что скажу, — увы, мне не оставалось ничего другого, как только самому окончательно разрушить свои надежды. И я сказал, ужасаясь собственным словам:

— Мой друг Ролан Сорель попросил меня извиниться за него перед вами. Ему пришлось неожиданно и надолго уехать из Франции. Как я понял, он не знал ни вашего имени, ни адреса.

Лицо у Сарацинки вытянулось, и она быстро опустила глаза, чтобы не показать, как она расстроена. Но чувствовалось, что она переживает не просто минутное разочарование, а настоящую боль. Досадуя, что не смогла этого скрыть, она тут же взяла себя в руки и взглянула на меня уже с некоторым любопытством, словно желая понять, что представляет собой человек, которого ее возлюбленный выбрал в наперсники. Судя по тому, что лицо ее сохранило холодную отчужденность, симпатией ко мне она не прониклась. Во мне шевельнулось искушение рассказать ей, как я утратил свое настоящее лицо и стал жертвой невероятной метаморфозы, но, услышав эту галиматью, она бы попросту подняла меня на смех. И я только застенчиво предложил: — Если хотите, я могу сообщать вам о нем все, что узнаю сам.

Ответом было красноречивое молчание. Затем Сарацинка взглянула на часы, откинулась на спинку стула и с вежливой улыбкой поблагодарила за услугу.

Я вернулся на свое место, но садиться не стал, а, оставив на столике плату за заказ, пошел прямо к выходу. Однако у самой двери, не удержавшись, оглянулся. Сарацинка сидела, подперев голову рукой, и задумчиво курила,

глядя прямо перед собой. Я помешкал: вдруг она все-таки позовет меня, чтобы поговорить о моем друге, но она не обратила на меня ровным счетом никакого внимания.

Между тем дождь перешел в яростно хлещущий по асфальту ливень. Я укрылся на террасе кафе Жюно, где, кроме меня, оказался только бродяга, что просил у меня прикурить. Он как будто не признал во мне давешнего прохожего и сделал осторожную попытку завязать беседу:

— Известное дело — осень, вот и дождь.

Я ответил, и мы обменялись несколькими репликами в том же духе. На прощанье я дал ему сигарет и коробок спичек, чему он был весьма рад. А чтобы я не подумал, что он бездомный нищий — как это и было на самом деле, — он как бы невзначай сказал: — Вообще-то я живу не здесь, а в Берси. Но иногда бывает, знаете ли, ни с того ни с сего забредешь вот так далеко от дома. Идешь себе, идешь, да и забредешь невесть куда.

Дождь стал стихать. Подняв воротник плаща, я быстро зашагал вниз по улице. Я направлялся домой, сам не зная зачем, точно так же как незадолго до того бежал к Сарацинке. Бурная жизнь, в которую я очертя голову бросился было четверть часа тому назад, кончилась. Вообще не дождь гнал меня. Просто сама собой наступила развязка, сама судьба гнала меня домой, и я покорно возвращался. Ничего другого мне не оставалось. Когда я открыл дверь, Рене стояла на том же месте, в конце коридора. Вместо атласного пеньюара на ней был бумазейный халат. Но я пошел не к ней, а в детскую. Малыши спали. Туанетта обнимала свою любимую куклу, занимавшую чуть ли не половину ее кровати. Обычно, когда она засыпала, куклу забирали, но сегодня никто об этом не вспомнил. Люсьен накрылся с головой, так что из-под одеяла торчали одни вихры. Я постоял, глядя на детей и прислушиваясь к их дыханию. Ко мне словно бы вернулось ощущение нормальной жизни, и я наконец по-настоящему обрадовался тому, что обрел прежнее лицо и завтра смогу расцеловать детей.

Я тихонько вышел из детской. У входной двери, загородив ее спиной, стояла Рене: должно быть, решила, что я вернулся только для того, чтобы проститься с детьми.

— Выслушай меня, Рауль,— решительно глядя мне в глаза, сказала она.— Не бойся, я не стану удерживать тебя, просто я должна сказать тебе всю правду.

Но я уже устал, вымотался до предела, и это признание было совсем некстати. Я сделал протестующий жест, но Рене продолжала:

— Только что ты осб́пал меня несправедливыми упреками и ушел из дому. Получается, что виноват в нашем разрыве ты. Ведь раздражение против жены, недовольство ее характером, который тебе давным-давно известен, еще не причина для развода. И было бы непорядочно, если бы ты бросил меня из-за этого. Но у тебя есть другая, бесспорная причина, и я хочу, чтобы ты узнал об этом,— пусть ни тебя, ни меня не мучит совесть. Я изменила тебе. В твое отсутствие у меня был любовник.

— Знаю,— сказал я.

Рене так и застыла с открытым ртом. Все это было настолько комично, что я невольно улыбнулся, Рене же эту мою легкомысленную улыбку сочла горькой усмешкой. Однако я постарался принять серьезный и даже, насколько позволяли мои внешние данные, величавый вид.

— Разумеется, знаю. Что ж ты думала, я не замечу, не пойму, что ты скрываешь от меня такое? Да я обо всем догадался с первой минуты: по твоим глазам, по тому, как ты себя вела и что говорила. Женщины мнят себя искусными притворщицами. А на самом деле это искусство сводится к золочению пилюли, и мужчина, если только он сам не склонен оставаться в неведении, всегда прекрасно видит, что к чему. Я, например, все знал еще до того, как приехал. Когда я последний раз звонил тебе из Бухареста — это было в прошлую пятницу,— я тут же, по тому, как изменился твой голос, понял, что произошло.

Жена смотрела на меня в полном изумлении — похоже, я представился ей в совершенно ином свете.

— Вообще, никогда не следует презирать мужа,— продолжал я.— Начинаешь презирать — перестаешь понимать, а значит, становишься безоружной. Сегодняшняя сцена — тому подтверждение. Ты была чересчур самоуверенна, а потому неосмотрительна, и каждое слово, каждый шаг уличали тебя куда красноречивее, чем теперешнее твое признание. Так что мне известно о твоих похождениях больше, чем тебе самой, моя дорогая, и если даже ты выложишь мне всю подноготную, уверяю тебя, ты не откроешь мне ничего нового. Впрочем, пока что ты и не говоришь всей правды. Ты сказала «У меня был любовник», а надо было сказать «У меня есть любовник».

Рене стала возражать: мол, все уже кончено,— возражать вполне искренно, но не слишком уверенно.

— Если между вами и правда все кончено,— сказал я,— то не далее как четверть часа назад. Готов поручиться, что твой любовник еще не знает о вашем разрыве. И уж во всяком случае, ждала ты сегодня не меня. Ты назначила здесь свидание ему, не постеснявшись даже присутствия детей. А может, ты сделала их своими сообщниками? Мне, черт возьми, хотелось бы это знать!

Я разошелся не на шутку. Рене помотала головой и зарыдала. Вид у нее был жалкий и униженный, и я злобно вспоминал, сколько лет прожил, трепеща перед ней, боясь хоть чем-то не угодить, не смея ни в чем перечить. Наконец, когда она уже стала шмыгать носом, я протянул ей свой платок и сказал, подталкивая в глубь коридора:

— Отойдем от двери. Нас могут услышать с лестницы.

Рене шла еле-еле, сморкаясь и всхлипывая. Я же, торжественно-непреклонный судия, делал вид, что у меня першит в горле, и внушительно и устрашающе прокашливался. В спальне я подвел ее к тому самому креслу, где она сидела, небрежно поигрывая белой туфелькой,— теперь и туфелька, и атласный пеньюар, должно быть, запрятаны на самое дно комода. Она села, заплаканная, в затрапезном халате. Я уселся на кровать. Настало время вынести приговор.

— Черт возьми,— повторил я, настраиваясь.— Уму непостижимо! Чтобы ты, мать моих детей, докатилась до такого. Но и это еще не самое страшное. Хуже всего та сцена, которую ты разыграла, когда я вернулся. Ничтожное, презренное, жалкое создание! Пойми, меня даже не то возмущает, что ты лгала. В конце концов, если назначаешь у себя дома, рядом с детской, свидание любовнику, а вместо него является муж — хочешь не хочешь приходится лгать. Нет, меня оскорбило до глубины души другое, и я никогда не забуду, с какой легкостью, с каким упоением, да-да, упоением, ты это делала,— ты, всегда такая прямая и искренняя. Ты просто наслаждалась собственным позором, грязью, в которую ты пала. Несчастливая, тебе не понять, каково мне было глядеть на это... на все это.

Икая и запинаясь, Рене бормотала сквозь рыдания:

— Прости меня, Рауль, я виновата, я больше никогда... прости, Рауль...

И Рауль, то бишь я, встал и в раздумье зашагал по комнате, теребя подбородок и потирая лоб, за которым зрело столь важное решение. Я не спешил заговорить. Наоборот, затягивал мучительное для Рене молчание. И наконец изрек: — Ладно, только ради детей. Я готов сохранять видимость согласия. При них будем вести себя так, будто ничего не произошло. Во всяком случае, я сделаю все, что в моих силах. Но, разумеется, спать мы отныне будем порознь.

Внезапно меня осеняет до того смелая идея, что я не сразу решаюсь высказать ее вслух. Если это выгорит — будет настоящее чудо, похлеще какого-то там превращения. Была не была: скажу! И, повернувшись к жене спиной, я громко выпаливаю: — Когда мне случится ночевать дома, как сегодня, я буду спать в комнате для гостей.

И, договорив до конца, решаюсь обернуться. Во взгляде Рене — восторженное благоговение. Итак, я хозяин положения. Еще разок пройдясь из конца в конец комнаты, я останавливаюсь и заявляю: — Я устал.

— Сейчас я тебе постелю,— смиренно, даже заискива-

юще лепечет жена. И, вскочив с кресла, поспешно исчезает в коридоре, бросив на меня робкий взгляд. Что ни говори, а я все-таки не промах. И теперь, глядя в зеркало, я окончательно примиряюсь с физиономией старины Серюрье.

XIV

Утром, когда я, весело насвистывая, одевался и брился, жена заглянула узнать, не нужно ли мне чего. Служанка принесла завтрак на подносе, и первый раз в жизни я позволил себе игриво шлепнуть ее — знай наших!

— Как дела, Маргарита? Все в порядке?

— О да, мсье, — просяив, ответила она.

Вот и дети. Набрасываются на меня, целуют, тискают, бодают с двух сторон головами, а я добродушно хохочу. Я — Серюрье. Я рассказываю им о Бухаресте, о путешествии в самолете. А когда они идут в школу, ухожу вместе с ними. Туанетта учится в ближайшей школе, в нескольких шагах от дома, только перейти дорогу. Все эти три недели я мог бы каждый день смотреть из своего окна, как она входит и выходит, но мне это почему-то не приходило в голову. У ворот она еще раз повисла на мне, поцеловала и побежала в школу. Люсьену идти дальше — лицей Роллена, где он учится, находится на другой стороне Монмартра. Мы с ним пошли по улице Жирардона. По дороге он сообщил мне, что хочет стать натуралистом, и с восхищением рассказал о новом соседе, господине Сореле, которого они встретили в музее: как здорово он разбирается в доисторических животных. Во мне разыгралась ревность, и я поспешил охладить его пыл.

— Полторы тысячи литров? Да ничего подобного. Мегатерий давал не больше двухсот. Этот твой натуралист, малыш, кажется, не такой уж знаток. И, по-моему, с его

стороны нехорошо пользоваться детской доверчивостью и молоть такую чепуху. Скорее всего он такой же натуралист, как я архиепископ. При первой же встрече не постесняюсь сказать ему все, что я о нем думаю.

Моя эрудиция, конечно, произвела на Люсьена впечатление, но он вздыхает — ему жаль полутора тысяч литров. Только лишний раз убедился: слогшибательными сведениями не стоит делиться с родителями. Разве от них услышишь что-нибудь таинственное и невероятное. Вскоре нас нагнал одноклассник Люсьена, Ален Ледюк.

— Знаешь,— сообщил ему Люсьен,— оказывается, все, что я тебе в прошлый раз говорил про мегатерия — помнишь, будто он дает полторы тысячи литров,— все это враки. Всего двести литров. Так папа говорит.

— Угу,— вежливо поддакнул Ледюк, но по глазам было видно, что он ни в грош не ставит мои слова. Во взгляде его сквозила насмешка и даже неприязнь. Видно, он уже успел или как раз собирался поведать о феноменальном удое приятелям и не желал ни с того ни с сего отказываться от удовольствия посмаковать этот факт.

Проводив ребят, я пешком направился к центру. Я чувствовал себя легким, свободным, и такая бодрость переполняла меня, таким новым казалось все вокруг, словно вернулись самые счастливые дни детства. Подумать только: еще вчера я бродил как неприкаянный по закоулкам и хмурым окраинным улицам. Сегодня мне незачем звонить Господу Богу. Он во мне, как в каждом человеке, я снова такой, каким Он меня создал. Именно это лицо, эту жизнь дал Он мне, чтобы я распоряжался ими по своему разумению. Я такой, как все, и это прекрасно. По привычке я улыбаюсь хорошеньким женщинам. И пусть они не обращают на меня внимания, я лишь беззлобно сам над собой посмеиваюсь. В памяти вдруг вспыхнул образ яблони в цвету, которую я видел, когда мне было лет шесть. В то утро я страшно не хотел идти в школу, но при виде этого дерева забыл все свои горести. Мне никогда не удавалось воскресить его в памяти по желанию. Но по-

рой оно само неожиданно встает у меня перед глазами, вот как сегодня. На улице Маргир я купил букетик фиалок для Люсьены, и вдруг так захотелось поскорее увидеть ее, что я взял такси.

В агентство я пришел самым первым — не было еще и половины девятого. Дурацкая позавчерашняя выходка не шла у меня из головы, и я боялся, что не смогу отделаться от чувства некоторой неловкости перед Люсьеной.

Как всегда пунктуальная, Люсьена явилась минута в минуту. Вот она открыла дверь в коридор, вот вошла в приемную и запела что-то ломким, как у юнца, голоском. Я шагнул было к двери, но тут же замер. В ушах у меня вдруг до боли явственно прозвучали те самые слова, которые я сказал Люсьене в прошлый раз: «Будьте уверены, он выложил мне все подробности. Я не стану повторять вам всего, что он рассказал. Есть границы, которых я не могу переступить. А для этого вашего Серюзе, да будет вам известно, никаких границ вообще не существует». Люсьена не могла не поверить всему этому, и меня пронзил жгучий стыд. Я спрятал в карман свежий букетик фиалок и был бы рад спрятаться сам, как тогда, в первый день метаморфозы, в чулан или за дверцу шкафа. Единственная надежда — на Жюльена Готье: может, он успел поделиться с Люсьеной предположением о том, что Ролан Сорель нашел и прочитал дневник Серюзе. А в том, что человек пишет о таких вещах сам для себя, нет ничего предосудительного. Вот только вряд ли Люсьена поверит в существование такого дневника. Жюльен, как мужчина, готов допустить любую логически оправданную версию. Но не Люсьена. Она наверняка первым делом подумала бы, насколько это практически осуществимо. Ей известно, что держать такой интимный дневник дома я никак не мог, а если бы писал его на работе, она бы обязательно знала об этом или, по крайней мере, обратила бы внимание на необычность моих занятий и теперь могла бы вспомнить: «Ах, вот оно что, теперь я понимаю...» Кроме того, она отлично знает, что я вообще не такой человек, чтобы

вести дневник. Жюльен тоже знает, но не принимает в расчет. И все-таки мне хотелось надеяться, что она не совсем отбросит это оправдывающее меня объяснение. Так или иначе, но к тому моменту, когда Люсьена открыла дверь кабинета и, напевая, переступила порог, я почти справился с собой и встретил ее вполне непринужденно. Придя в себя от первого изумления, Люсьена сказала, что рада моему возвращению, и мы поздоровались за руку. Еще в машине, по пути на улицу Четвертого Сентября я, расчувствовавшись, представлял себе, как Люсьена бросится в мои объятия, но с первой же минуты понял, что в ее поведении со мной что-то переменялось. Правда, она улыбалась, но не потому, что рада снова видеть меня, а потому, что я жив и здоров и, значит, можно больше обо мне не беспокоиться. Мне даже показалось, что она всячески старается держаться от меня подальше.

В то же время она была непритворно сердечна. В ее ясных, не умеющих лгать глазах не было и тени упрека или недоверия, хотя иногда она, словно чего-то внезапно смущаясь, запинаясь и краснела. Кое-как закруглив, так сказать, приветственную часть, мы поскорее перешли к делам. Тут уж всякая неловкость исчезла. Я даже решил, что первые минуты были так тягостны только из-за моей собственной робости и недавнего смущения, и собрался высказать наконец Люсьене то, о чем не переставал думать с тех пор, как заявил жене, что не всегда буду ночевать дома. Увы, помешала госпожа Бюст, явившись с опозданием на добрых полчаса. Она поспешила ко мне с приветствиями и извинениями. Люсьена, направляясь в комнату к машинистке, сказала, чтобы я позвонил Жюльену Готье.

— Вы ему срочно нужны. По весьма важному делу.

Я удивленно посмотрел на нее, разыгрывая недоумение.

— Дело и правда очень важное, — сказала Люсьена.

— Значит, вы в курсе?

— Да, господин Жюльен Готье говорил, но мне бы не хотелось самой объяснять вам, о чем идет речь. Я могу

что-нибудь не так сказать, а вы — не так понять. Он ваш друг, пусть лучше он вам обо всем и расскажет.

— Что ж, ладно. Пойду к нему прямо сейчас. Узнайте, пожалуйста, дома ли он.

Уже стоя у подъезда Жюльена на улице Коперника, я все еще не знал точно, как буду себя вести. Что делать: просто выслушать его и горячо поблагодарить? Или же попытаться объяснить всю как есть правду? Первое, конечно, проще и разумнее, но связывавшая нас дружба обязывала меня к откровенности. Кроме того, мне хотелось оправдать в его глазах Рене. Весь вопрос в том, поверит ли он в историю с превращением, ведь и сейчас она не стала правдоподобней, чем была три недели назад. Однако в последний момент я вспомнил разговор с Люсьеном о мегатерии. Вспомнил, как легко разуверил его в выдумке, которая ему так нравилась, но его приятеля Ледюка переубедить так и не смог. Что ж, почему бы не уповать на дружеские чувства Жюльена Готье, может быть, тот же самый рассказ, которым чужой лишь навлек на себя худшие подозрения, из уст друга будет выслушан с доверием. В конце концов, чем я рискую?

Жюльен — видно, он недавно встал — принял меня в домашнем халате у себя в спальне.

— Ты не представляешь, как я рад, старина! — воскликнул он. — Ведь я уж и не надеялся снова тебя увидеть. Кажется, никогда столько не думал о тебе, как в эти последние дни. Садись. Я сейчас, только побреюсь.

Он так искренне обрадовался моему появлению, что я растрогался и окончательно утвердился в своем решении. Стыдно было бы платить ложью за преданность, участие, за все волнения и хлопоты, которые я причинил Жюльену. Я присел на разобранную постель, совсем как в доброе старое время. Между тем он брился, весело напевая, и в его голосе мне слышались какие-то необычные, мальчишеские нотки. Вскоре он вернулся, сел на стул напротив меня и спросил: — Но чем же ты занимался там, в Бухаресте, целых три недели? Я как раз думал об этом вчера перед сном

и решил, что ты смылся с какой-нибудь красоткой или вообще, не дай Бог, отдал концы...

— Я не был в Бухаресте. И не выезжал из Парижа.

— Вот это да! Не выезжал из Парижа! Почему же в таком случае ты скрывался?

— Да я и не думал скрываться, Жюльен,— произнес я медленно.

По моему голосу и взгляду Жюльен понял смысл этих простых слов. Он встрепнулся и застыл в изумлении, как один из рембрандтовских странников перед воскресшим Христом, осиянным чудным светом *. Мы глядели друг другу в глаза, ни слова не говоря. Наконец я бессильно пожал плечами и сказал:

— Что же делать, если так все и было. По пути к тебе я все думал: сказать тебе правду или нет. Куда проще и спокойнее было бы прикинуться, что я знать ничего не знаю, да и покончить раз и навсегда с этой дикой историей. Но все-таки я сказал себе: от тебя, человека, который все это время беспокоился обо мне, как о родном брате, я не вправе скрывать истину. Да, Жюльен, тот субъект в кафе, которого ты принял за сумасшедшего и заподозрил в том, что он собирается меня убить, был я сам. Но на этот раз, чтобы убедить тебя, я уже не могу ссылаться на общие воспоминания, голос, старый шрам. Никаких доказательств того, что я дважды сменил лицо, нет. Только мое слово.

Я умолк. По правде говоря, я несколько преувеличивал голословность своего утверждения. Вполне можно было бы предъявить кое-какие доказательства. Например, ничего не стоило взять в агентстве бумаги, написанные рукой Ролана Сореля, и любой эксперт опознал бы мой, хотя и измененный, почерк. Однако я уже знал по опыту, что попытка логически доказать что-либо абсурдное может только испортить дело. Вывать к логике — значит, запускать механизм рационального мышления, а это в данном случае

* Имеется в виду картина Рембрандта «Христос с учениками в Эммаусе» (1648, Лувр).

вредно. Поборник абсурда, подобно художнику, должен обращаться к тем сторонам человеческой природы, где аргументы не имеют силы, и некое чутье подсказывало мне, что лучшее оружие — простота и краткость. А я и так уже, кажется, говорил слишком долго. Хватило бы нескольких слов. И все-таки подействовало: Жюльен пожирал меня глазами, подавшись вперед, словно радиолобитель, колдующий над приемником в поисках нужной волны. Наконец почти шепотом и каким-то виноватым тоном он выдохнул: — Я тебе верю.

Услышав это, я чуть не захлебнулся от избытка чувств, и из глаз у меня потекли слезы. «Как глупо», — пробормотал я. А Жюльен порывисто схватил меня за руки и сказал:

— Прости меня, Рауль. Я вел себя как идиот. Точно какой-нибудь тупоголовый полицейский. Подумать только: ты просил меня о помощи, а я, самодовольный олух, надулся и отвернулся. Тебе было плохо, а я, вместо того чтобы помочь, еще добавлял тебе неприятностей. Просто ужасно! Но зато я и наказан: упустил случай пережить вместе с тобой такое приключение. Ну, рассказывай же!

И я принялся рассказывать все с самого начала. Жюльен ловил каждое мое слово, и его страстное внимание все больше воодушевляло меня. Вот Жюльен услышал, что дядя Антонен поверил в метаморфозу, ни секунды не колеблясь, и вздохнул: «Что за человек! Старик, а как молод духом!» Вот я рассказал, что у меня изменился и характер и что причину этих перемен — если только они вообще были, а не почудилось мне, — я усматривал в новом лице, — и Жюльен безутешен: кто, как не он, так хорошо знавший меня, мог бы судить, насколько мои ощущения соответствовали действительности. Однако, рассказывая о своих отношениях с Люсьеной, я не сообщил ему о нашей близости, а ссору с ней объяснил тем, что Ролана Сореля будто бы бесила ее чрезмерная преданность Серюлье. В общем-то мы с Жюльеном достаточно доверяем друг другу, чтобы не скрывать ничего, но мне казалось, что, промолчав, я хоть сколько-нибудь облегчу свою совесть.

— Заключение графолога меня успокоило,— сказал Жюльен,— но последние опасения исчезли, когда я узнал, что вчера утром ко мне приходил какой-то подозрительный субъект,— тут он рассмеялся,— и назвался убийцей Рауля. Я расценил это как желчный выпад незаслуженно обвиненного человека. Как видишь, мне и в голову не пришло, что ты приходил, чтобы сознаться в преступлении. Господи! Как подумаю, каково тебе пришлось вчера, как ты из-за меня намучился, простить себе не могу! Это надо же: с начала до конца вести себя как последний кретин! Кретин, надутый индюк! Ты, верно, еще и сейчас на меня зол.

— Брось, пожалуйста, за что мне злиться! Наоборот, я благодарен тебе: все, что ты делал, чтобы обезвредить меня, только доказывает твою дружбу. Лучше ответь на один вопрос. Это касается тебя самого. Мне любопытно знать, как у тебя уложилась в голове мысль о том, что такая абсурдная вещь произошла на самом деле. Меня все это слишком близко касалось, и я не могу судить, что испытываешь, когда видишь чудо — иначе как чудом это не назовешь — со стороны. Потому я и спрашиваю тебя.

Прежде чем ответить, Жюльен задумался, видимо, желая быть предельно искренним.

— Ну так вот,— сказал он наконец.— Признаться, как раз то, что должно было ошеломить, сразить наповал, почему-то мало трогает меня, можно даже сказать, совсем не трогает. То есть я, конечно, очень живо представляю, что тебе пришлось вытерпеть. Но сам факт превращения — он-то, казалось бы, и должен потрясти меня — на самом деле хотя и удивляет, но не волнует! И не потому, что мне не хватает воображения. Я прекрасно понимаю, какие фантастические возможности открывает такое из ряда вон выходящее явление, просто меня это как-то не вдохновляет.

Снова помолчав, он продолжал:

— Ты спросишь, почему же на этот раз я поверил, что превращение действительно было. Я вижу на то три причины. Первая и главная — это то, что ты мой старый друг Рауль Серюзье, которого я вот уже двадцать лет знаю как человека

уравновешенного и не отличающегося буйной фантазией. Вторая причина, возможно, не так важна, зато она объясняет мою теперешнюю невозмутимость. Куда легче поверить в чудо, которое осталось в прошлом. Может, я и не прав, но, по-моему, чудо поражает тогда, когда оно происходит прямо сейчас, у тебя на глазах, — ведь тогда, хочешь не хочешь, участвуешь в нем сам. Оно затрагивает лично тебя, вторгается в твою жизнь. И наоборот, если оно уже в прошлом, то как бы тебя уже не касается. Это как с крушением поезда: если узнаешь о нем с запозданием, оно уже не производит такого сильного впечатления. В общем, поскольку твое превращение — факт из прошлого, мой разум легче переварил его и не слишком взбаламутился. Мне даже не пришлось его уламывать. Разум вроде сторожевого пса: пока воры крадутся вдоль забора, он лает и натягивает цепь, а когда, обобрав дом, уходят прочь, замолкает.

— Понятно. И все-таки это звучит не очень убедительно. Вот представь себе: являюсь я к тебе и рассказываю не о том, что было когда-то, а о каком-нибудь другом, вполне свежем чуде, ну, например, что моя жена только что превратилась в птичку, — и что же, твой разум поверил бы мне, хоть я и твой старый друг Рауль?

— Не знаю, — сказал Жюльен. — Это уж слишком дикое какое-то превращение. Я понимаю, ты скажешь: абсурд есть абсурд, тут не может быть никаких слишком или чуть-чуть. Так-то оно так, и все же многое зависит от того, как, когда и под каким соусом все преподнести. А может, я бы тебе и поверил. Конечно, здравый смысл стал бы громко вопить, но, если бы я очень захотел поверить в этот фокус с птичкой, то уж сделал бы так, чтобы не слышать его воплей. Ну, впал бы в поэтический или там мистический экстаз, а то и просто постарался бы чуточку помешаться. Да что ты меня спрашиваешь — все, что я могу сказать, и так давно известно. Кругом полным-полно людей, которые верят в разные сверхъестественные штуки. Одни — в привидения, я сам знаю таких, другие — в черную магию или спиритизм. Всем им пришлось в свое время решать ту же проблему, что и мне

сейчас, и большинство вышло из положения, слегка повредившись в рассудке или, иначе говоря, оглушив свой разум. По-моему, гораздо интереснее, как отнесся к этому чуду ты сам, видевший его собственными глазами, испытывавший на собственном опыте. Тут и сравнивать нельзя, для тебя оно — непреложная истина, и ты хоть и захочешь, а не скоро отделишься от мыслей о нем.

— Не беспокойся, я не думаю, чтобы воспоминание о превращении так уж сильно отразилось на моей дальнейшей жизни. Ты ведь знаешь: у меня довольно толстая кожа. Я не из тех, кто теряет душевное равновесие, чуть только случится что-нибудь труднообъяснимое. А если меня и станут допытывать разные там вопросы, я их просто-напросто выкину из головы — что-что, а это я умею. У меня не настолько дотошный ум, чтобы особенно церемониться. До двадцати лет я был образцовым, убежденным католиком. Свято верил в то, что Иисус Навин остановил Солнце, хоть мне было неизвестно, что это Земля вращается вокруг Солнца. И даже не задумывался над тем, как увязываются друг с другом эти истины. Должно быть, у меня в голове есть много разных отделений — так же обстоит дело и с теми, кто верит в привидения или в черную магию и кажется тебе не в своем уме. Найдется отделение и для превращения, так что, случись мне вспомнить или даже поразмыслить о нем, моя нормальная жизнь от этого не пошатнется. Даже в эти три недели, когда голова шла кругом, меня куда больше волновало, что теперь со мной будет, чем само по себе чудо. Вчера же, когда ко мне вернулось прежнее лицо, я подумал: такие приключения не для меня, и это сушая правда.

— Если уж на то пошло,— сказал Жюльен,— я тоже не идеальный слушатель. Тебе мог бы попасться более подходящий, более впечатлительный; у него от твоего рассказа захватило бы дух, и он бы знай приговаривал: «Вот это да!» Впрочем, мало-мальски здравомыслящему человеку тут, собственно говоря, нечему особенно удивляться. Ну, чудо, ну, абсурд, но ничего такого уж феноменального в нем нет.

Мы проговорили два часа кряду, чуть ли не до полудня, и наконец я напомнил Жюльену, что он еще не одет, а между тем, как я условился два дня назад с дядей Антоном, мы вскоре должны обедать втроем в ресторане у заставы Майо. Он, бедняга, уж верно, меньше всего ожидает увидеть меня в прежнем обличье. Я решил сказать ему, будто в самом деле вернулся из Бухареста и знать не знаю, что здесь разыгралось. Жюльену это не понравилось, да я и сам понимал, что уж кто-кто, а дядя заслужил право знать истину. Но если он узнает все как было, мне не на что будет сослаться, чтобы убедить его держать язык за зубами. И он не то чтобы проболтается, а просто сочтет своим долгом раззвонить об этой потрясающей новости направо и налево. Так что скоро все наши друзья и родственники услышат от него, что я, дескать, превратился в юного голубоглазого бога, чтобы обольстить свою собственную жену. Только этого мне не хватало! Так и вижу физиономию кузена Эктора: выслушает этот рассказ с ухмылкой и отзовется о нем как о «поэтическом вымысле». Да и вообще, поверят или нет дядиным рассказам, я решительно не желаю, чтобы эта история занимала какое-то место в моей жизни, наоборот, хотел бы стереть, и как можно скорей, само воспоминание о ней. А если принять версию с поездкой в Бухарест, то все кончится само собой. В конце концов Жюльен со мной согласился. Он принял одеваться и вдруг сказал:

— Да, чуть не забыл! Я ведь насчитал три причины, почему я легко поверил в чудо, а назвал только две. Сказать тебе, какая третья? Так вот, дружище, дело еще и в моем легкомысленном настроении — это оно сделало меня доверчивее, чем обычно. Да-да, я счастлив и упоен жизнью, и, наверное, это поколебало мою обычную трезвость и сделало более податливым на доводы чувств. Мне так хорошо!

Я обернулся и посмотрел на Жюльена. В свежей сорочке, с галстуком в руках, он стоял и блаженно улыбался.

— Влюбился ты, что ли?

— Да. Она — самая прекрасная, самая чистая женщина на свете. Она — как весенняя лоза. Рауль, я женюсь. И ты,

конечно, уже понял из моих слов, на ком. Я люблю Люсьену.

Я почувствовал, что мое лицо наливается кровью. А Жюльен все так же идиотски улыбался. Влепить бы ему оплеуху!

— А она тебя любит?

— Любит. Мы объяснились вчера вечером. Понимаешь, в эти три недели мы очень часто виделись. Я пришел к ней на другой день после твоего превращения, чтобы расспросить, когда и зачем ты отправился в Бухарест. А на завтра встретил ее случайно. И потом еще много раз бывал у тебя в агентстве. Мы ходили в кино, в театр. Наконец, после того как я встретил тебя и твою жену на бульваре Сен-Мишель, я решил рассказать Люсьене об опасной личности, и мы не на шутку испугались за твою жизнь. С тех пор я почти безвылазно сидел в агентстве. А по вечерам мы ужинали вдвоем. Ну и вот... Сейчас, перед самым твоим приходом, я как раз думал: спасибо старине Раулю — ведь это его поездка в Бухарест принесла нам счастье. А теперь выходит: не поездка, а превращение. Так еще лучше. Верно?

— Угу,— отозвался я.

Жюльен расхваливал Люсьену, расписывал, какое у нее чистое сердце да какой ясный ум, какой чудный взгляд и какая нежная кожа. Казалось, этому не будет конца. Наконец, одевшись, он зачем-то вышел, я же остался сидеть один, уничтоженный этим новым ударом. Утрачена не только драгоценная для меня любовь Люсьены, утрачен весь смысл той новой жизни, которую я собирался начать. Ведь я рассчитывал уже сегодня не возвращаться домой. Придумывал, как мы будем проводить выходные. Например, отправляться по субботам в двухдневные походы на велосипедах, а то и пешком. Я мечтал о любви на лоне природы. А в плохую погоду и зимой мы сидели бы у камелька в уютной квартирке и пировали вдвоем или ходили бы в кино. Жене я бы сообщал просто: «Вернусь в понедельник вечером». А у Маньера, в кафе «Мечта» на нашей улице стали бы говорить: слыхали, у Серюзье-то объявилась любовница! Вы только посмотрите на него: одет всегда с иголочки, по последней моде и как чертовски молодо выглядит! И это

было бы чистой правдой. Любовь делает моложе. А я бы так любил ее! О Люсьена! Моя нежная, моя девочка, фиалка моя! Жизнь бы за нее отдал. Если бы вдруг она тяжело заболела и врач сказал бы: переливание крови, нужно три литра,— я дал бы свою. Берут эти три литра, и врач говорит: нужен еще литр. И я, уже при смерти, шепчу: берите сколько нужно, и в конце концов у меня выкачивают всю кровь. Зато Люсьена будет спасена, ну, и я тоже каким-нибудь чудом выживу. И она будет любить меня, как никто никого и никогда не любил, и все будут нам завидовать.

А вместо всего этого изволь тащиться вечером домой, и завтра тоже, и послезавтра, и каждый день. Опять пойдут воскресные прогулки: то в Булонский лес с заходом в кафе на Елисейских полях — две рюмки аперитива и два стакана гренадина для детей,— то в Венсенский, то обозрывать римские развалины. И куда теперь девать букет фиалок, который я купил для Люсьены и который оттопыривает мой карман. Не пропадать же ему. Подарю вечером жене.

Я зывал к своим лучшим чувствам, старался радоваться счастью моего друга и Люсьены. Внушал себе, что все к лучшему. Присвоить себе жизнь молоденькой девушки, в моем возрасте, когда я ничего не могу дать ей взамен,— это подлость. Но сколько я ни твердил себе все это, слова оставались словами, и никакой радости я так и не ощутил. Видно, еще не пришло время. Пройдет несколько дней, Рене снова приберет меня к рукам, вот тогда пожалуйста.

— Ну пошли,— сказал Жюльен.— Солнце-то какое, апрель, да и только! Живем, старина!

XV

Дядя Антонен выбрал столик в углу, откуда мог наблюдать за входной дверью, но, когда мы вошли, он был так увлечен рисованием автомобилей на обороте меню, что не заме-

тил нас. «Здравствуйте, дядя»,— сказал я. Он потряс наши руки, не обратив внимания на то, что у меня прежнее лицо. И только когда мы сели и я очутился прямо напротив него, он осознал этот факт, воззрился на меня с тревогой и недоумением и изумленно воскликнул:

— Это же ты! Откуда ты взялся?

И громко, на потеху соседним столикам, продолжал в том же духе. Наконец Жюльен, видя, что я злюсь и нервничаю, прервал это водевильное *qui pro quo* *.

— Успокойтесь,— сказал он дяде Антонену.— Насколько я понимаю, вы знаете о существовании некого Ролана Сореля, который выдавал себя за вашего племянника. Я все рассказал Раулю. Оказывается, он знаком с этим субъектом, несколько раз сталкивался с ним еще перед отъездом в Бухарест и считает, что это совершенно безобидный маньяк. А что до басни с превращением, то не мне упрекать вас, если вы в нее поверили: этот негодяй дьявольски убедителен; представьте себе, он и мне самому чуть не заморочил голову. А в общем-то все это сущие пустяки, о которых не стоит и вспоминать.

Слушая Жюльена, дядя, казалось, понемногу успокаивался, но при этих последних словах на его лице снова появились угрожающие признаки. Губы и длинные усы его задрожали. Я с ужасом понял, что взрыва не миновать. И действительно, он приподнялся и вскричал на весь зал:

— Ничего себе пустяки! Ах ты простофиля! Да ведь этот подонок обесчестил тебя, он спал с твоей женой!

Теперь уже все посетители смотрели на нас, и сам распорядитель обратил на наш столик суровый взор.

— Пожалуйста, потише, дядюшка! — взмолился я.— Не осуждайте Рене так поспешно. Я знаю, что она, по крайней мере, один раз показывалась в городе вместе с этим типом — Жюльен их встретил. Знаю, что он снимал квартиру в нашем доме. Но разве из этого следует, что ваша племянница мне изменила? Ей-богу, по-моему, нет.

* недоразумение, путаницу (лат.).

Такая доверчивость возмутила дядю, и он уже собирался броситься на защиту истины, но я опередил его, прибавив: — Вы же понимаете, будь у меня основания полагать, что Рене мне неверна, я бы развелся с ней немедленно.

Скрепя сердце дядюшка заставил себя промолчать и зачихнул в рот усы, словно кляп. Жюльен попытался завести разговор на другую тему, но его некому было поддержать. Дядя и я — мы оба угрюмо молчали. Чтобы отвлечь дядю Антонена от неприятных мыслей, я спросил, не претерпела ли его машина каких-нибудь кардинальных изменений, пока меня не было. Он, кажется, чуточку оживился и поведал нам, что сделал замечательное изобретение, которое, возможно, запатентует. Это маломощный мотор, умещающийся под сиденьем. Он уже было заговорил с прежним воодушевлением, но вдруг замолк, прервавшись на полуслове, а затем со вздохом, словно отвечая некой тайной мысли, сказал: — А все-таки жаль...

— О чем вы, дядя?

— Да я все думаю о превращении. Так хотелось бы, чтобы это оказалось правдой.

Он снова замолчал. Это сожаление растрогало меня: точно так же сокрушался бы на его месте ребенок.

Жюльен же, не совсем понявший, что хотел сказать дядя, переспросил: — Жаль? Но почему?

— Должно быть, потому что я стар.

Мы с Жюльеном стали возражать: вовсе он не стар, наоборот, то, что он поверил в превращение, только доказывает его молодость. Но дядя покачал головой:

— Нет-нет. Потому и поверил, что стар. С тех пор как два дня назад у меня закралось сомнение, я много думал. И понял: я стал стариком.

— Как правило, — заметил Жюльен, — старики не слишком охотно принимают то, что выходит за рамки обычного.

— Возможно. Но в моем возрасте время идет страшно быстро, когда-нибудь вы сами это узнаете. И от этого испытываешь такое чувство, будто тебя втягивает в механизм какой-то машины, которая никогда не даст сбой, никогда не

сломается. Знай себе крутится да крутится — с ума можно сойти! А ужасно хочется, чтобы она хоть разочек сбилась, пусть даже ничего в мире от этого не изменится. Просто так, ради передышки. Когда старики, вроде меня, снова принимаются ходить в церковь, все думают, что они отмаливают грехи, а на самом деле нас просто бесит этот раз навсегда заведенный вселенский механизм, и нам хочется высказать все накипевшее на душе самому механику. Уж я-то знаю! Бывают дни, когда мне кажется, что Бог действительно есть, и тогда меня разбирает желание добраться до него и уговорить пустить машину обратным ходом. Ну и, кроме того, чего греха таить, этот Ролан Сорель мне нравился. Такой приятный, красивый, молодой, глаза как у девушки, я еще подумал: повезло же Раулю! И потом, согласитесь, не всякому такое в голову придет — взять и заявить: «Я Рауль Серюзье, только у меня теперь другое лицо».

Дядя окинул меня критическим оком и, покачав головой, прибавил: — Ты-то, уж во всяком случае, никогда бы до такого не додумался.

И вот я снова направляюсь в ту контору, откуда ровно шесть недель тому назад вышел с чужим лицом. Мне страшновато, даже жутко, и на последнем этаже, прежде чем толкнуть знакомую дверь, я смотрюсь в карманное зеркальце. Лицо мое, не чужое. Вхожу и вижу в окошке седую голову старательно что-то пишущей госпожи Тарифф. У соседнего окошка господин Каракалла болтает с другой сотрудницей. Он облокотился на деревянный бортик, подпер щеку рукой, а его трость с серебряным набалдашником висит рядышком. Скользнув по мне взглядом, он продолжает разговор: — Я назвался, и, когда они узнали, кто я такой, сразу извинились...

Я поискал в глубине служебного помещения внушительную фигуру господина Буссенака, но не разглядел — там уже темно. И как раз в этот момент одна за другой начинают загораться лампы.

— Это здесь, — откликается госпожа Тарифф на мой вопрос. — Документы при вас?

Не глядя на меня, она берет кипу бумажек, которые я протягиваю ей в окошко, откладывает в сторону прошение на гербовой бумаге и открывает большую учетную книгу в зеленой клеенчатой обложке.

— Фотографии принесли?

С бьющимся сердцем выкладываю я две фотокарточки. Этого движения достаточно, чтобы госпожа Тарифф начала заполнять графы в своей книге, даже не взглянув на карточки. Я уже знал, что это довольно долгая процедура. И в ожидании принялся мысленно перебирать предстоящие в ближайшее время дела. Самое главное — поскорее найти толковую секретаршу, чтобы Люсьена успела передать ей дела до конца месяца. Хорошо бы это была особа не моложе пятидесяти лет или уродина, хотя, пожалуй, я не возражал бы и против приятной неожиданности. Впрочем, какая разница! Моя теперешняя жизнь так мало отличается от той, какую я вел два месяца назад, она так прочно вошла в старую колею, что вряд ли улыбка хорошенькой секретарши могла бы что-то в ней изменить. Даже если бы свадьба Люсьены расстроилась и она снова полюбила меня — слишком поздно! Какая женщина сравнится с моей супругой! Что за светлая голова и какое золотое сердце! Милая, милая моя Рене. В тот вечер, когда я вернулся с букетом фиалок, она была растрогана, вся так и светилась! Мы мирно, по-семейному поужинали, и добрый ангел витал над нами. Ни о какой отдельной спальне я больше не вспоминал, и когда подошло время, без особой неловкости и как будто просто по привычке лег в супружескую постель, расточая жене ласковые слова. Но совсем иные чувства овладели мной в следующую ночь. Я долго не мог уснуть, и мало-помалу во мне разыгралась уязвленная гордость: я перебирал свои обиды, негодовал. От стыда и злости меня бросало в жар, голова гудела. Разгоряченный, потный, я метался по подушке. А рядом со мной сладко спала Рене, и этот безмятежный сон, это ровное дыхание показались мне в тот момент чем-то оскорбительным и циничным. Я решил встать, одеться, а когда Рене откроет глаза, заявить ей: «У меня

назначено свидание в половине первого». Но тут же представил себе, что придется бродить по улицам, дрожа от холода, в поисках приключений, к которым я не имел ни малейшей охоты. И остался в постели. Засыпая, я подумал, что завтра же велю постелить себе в комнате с клетчатыми обоями. Но к утру весь гнев прошел. Этот ночной всплеск был последним, и постепенно ко мне вернулось чувство покоя и благополучия. Воспоминание о моей метаморфозе не нарушает нашего семейного согласия. Я никогда не попрекаю Рене изменой, убедив себя, что она стала жертвой обстоятельств. И все же мы оба, особенно Рене, непрестанно думаем об этом. В первые дни я тешил себя мыслью, что позиция мужа-обличителя даст мне некоторое преимущество в отношениях с Рене, но, как теперь вижу, это были напрасные надежды. Она не только не испытывает передо мной никакого смущения, но, наоборот, держится с каким-то превосходством, будто путешественник, исколесивший на своем веку немало стран, а ныне с достойным смирением ведущий оседлую жизнь. Это проявляется в снисходительном тоне, который она усвоила со мной, в скучающем, отрешенном виде, делающем все ее суждения, решения и распоряжения категоричными и неоспоримыми. Диву даешься, как искусно сумела она обернуть в свою пользу ситуацию, в которой я на ее месте не знал бы куда деваться. Но однажды я не выдержал и решил показать ей, что если я все терплю, то только по собственной доброй воле и из великодушия, между тем как мне ничего не стоило бы самому над ней посмеяться.

Это произошло в одно воскресное утро. Мы оба были в ванной комнате: я брился, а Рене нежилась в ванне, не обращая на меня никакого внимания. Она откровенно любовалась своим обнаженным телом, обозревая себя от кончиков пальцев на ногах до сосков, и правда, ее груди, невесомые в воде, выглядели недурно. Вдруг рассеянно и безучастно, словно думая вслух, она произнесла:

— Пусть Жемийяры думают что хотят, но мы к ним сегодня не пойдём.

Жемийяры — старые друзья еще моих родителей, я особенно привязан к ним и люблю у них бывать: нам, землякам, есть что вспомнить. Но из-за Рене, считающей их скучными и вульгарными, я встречаюсь с ними всего два-три раза в год. К тому времени мы не виделись уже больше полугода, и когда как-то на неделе я встретил в городе старика Жемийяра, то обещал, что мы навестим их в воскресенье вечером. Конечно, первым моим побуждением было воспротивиться словам Рене. Однако я тут же понял, что от этого не будет никакого толку. Рене все молча выслушает, а часа через два заговорит об этом как о чем-то уже решенном и принятом с обоюдного согласия: «Я позвонила им и извинилась». Нет, чтобы одержать над Рене эту мелкую победу, надо начинать крупное наступление, рассудил я, и в то же время вновь расшатывать наш *modus vivendi* мне совсем не хотелось. Но, увидев в зеркале, что Рене улыбается с победным видом, я отложил бритву, присел на край ванны и сказал:

— Пожалуй, ты все-таки должна знать правду. Я не был в Бухаресте.

Рене обеспокоенно смотрела на меня, поняв, что я собираюсь вернуться к скользкой теме и нарушить ее покой. Собственная нагота, минуту назад так развлекавшая ее, теперь, когда, видимо, предстояло серьезное и, быть может, бурное объяснение, вдруг показалась ей чем-то унижительным, и она попыталась прикрыться руками.

— В тот день, когда я сказал тебе, что еду в Бухарест, со мной случилась очень странная вещь. Я пошел выправлять себе пропуск по форме В. Р. И., и тамошняя служащая не приняла мои фотографии, заявив, что они не имеют со мной ни малейшего сходства. А когда позвали ее коллег, они все подтвердили, что она права.

— Какая дичь! — воскликнула Рене с несколько наигранным возмущением, вероятно желая показать, как захватил ее мой рассказ.

— Я, конечно, стал спорить, но бесполезно и в конце концов так и ушел. На Королевском мосту вдруг вижу —

идет Жюльен Готье. Протягиваю ему руку, а он смотрит на меня, как будто первый раз видит, и уверяет, что незнаком со мной.

— Ну и ну!

— Я ничего не понимаю, бросаюсь к ближайшей витрине, смотрюсь в нее и не узнаю себя сам.

Произнеся эти слова, я уже понял, что их нелепость успокоила Рене, убедила ее, что я просто шучу. И упавшим, сдавленным от волнения голосом, прозвучавшим, однако, вполне мелодраматически, закончил:

— У меня было чужое лицо!

Рене улыбнулась этой ребяческой выдумке и ласково, как бы благодаря за то, что мне вздумалось ее позабавить, сказала:

— Дурачок!

А я, как и положено миляге Серюрье, громко расхохотался. Я бы мог, конечно, продолжить, мог рассказать Рене, как я обольстил ее, и напомнить такие детали наших отношений, что она стала бы в тупик. Но это только растревожило бы, но не убедило Рене, к тому же у меня не было желания воскрешать наш роман. И все-таки я не хотел упустить возможность задать Рене мучивший меня вопрос.

— Конечно, это нелепая выдумка,— сказал я.— Но представь себе, что у меня в самом деле изменилось лицо. И что в тот самый вечер к тебе явился незнакомый светлоглазый красавец, который говорил бы моим голосом, был бы одет в мой костюм, мог бы писать моим почерком и знал бы о нас с тобой все до самых интимных подробностей,— и вот этот незнакомец сказал бы тебе: «Я твой муж». Что бы ты сделала?

В другое время Рене просто сказала бы, что это дурацкий вопрос, она вообще не особенно любила фантазировать. Теперь же она, должно быть, подумала, что, сочиняя эту глупейшую басню — а побудили меня к этому, по-видимому, ее слова о Жемийярах,— я поначалу замышлял что-то против нее, но по ходу дела передумал и кончил не так, как собирался. Поэтому она отнеслась к делу со своей обычной

основательностью и довольно долго обдумывала, как ответить, чтобы угодить мне, прежде чем вымолвила:

— Прогнала бы его.

— Не знаю, не знаю. Столько совпадений сразу — так просто ты бы от них не отмахнулась.

Рене снова задумалась. Кажется, она втянулась в игру и размышляла над задачей так, как если бы действительно столкнулась с ней в жизни. Я более четко сформулировал дилемму: «Или ты соглашаешься поверить в невероятное, или не соглашаешься и тогда берешь на себя риск — причем немалый — навсегда лишиться мужа». В глазах Рене появилась твердость, лицо приняло решительное выражение. Из добросовестности она еще взвешивала все за и против, но я догадывался, что выбор, возможно бессознательно, уже сделан. Повинуясь природному инстинкту, она предпочла остаться в границах здравого смысла, пусть даже идя на риск, но не допустить вторжения иррациональной стихии, грозящей перевернуть и уничтожить все, на чем зиждется ее жизнь.

— Все равно прогнала бы,— повторила она наконец с видимым облегчением.

— А если бы он предъявил неопровержимые доказательства?

Рене поднялась во весь рост, принялась намыливать и ответила, на этот раз несколько не колеблясь:

— Ну, знаешь, если нет никакого выхода, то вопрос вообще теряет всякий смысл.

На этом наша дискуссия закончилась, и я снова взялся за бритву. Рене дипломатично решила не возражать больше против визита к Жемийярам. Так что часа в три мы все вчетвером отправились пешком в гости к старикам. Они живут около заставы Терн — отличная прогулка. Я шел рядом с женой и вел за руку малышку Туанетту, а Люсьен понуро брел чуть впереди — надо сказать, он тоже не пылал любовью к Жемийярам. Мы уже одолели подъем на улице Коленкура, и в тот момент, когда я стал сердито выговаривать Люсьену: или уж иди впереди, или вместе с нами, толь-

ко не путайся под ногами,— я вдруг увидел Сарацинку. Она шла с подругой навстречу нам. Кажется, они о чем-то доверительно и серьезно говорили. С задумчивым выражением на красивом волевом лице Сарацинка склонилась к державшей ее под руку спутнице и словно забылась в этом порыве. Тем не менее она продолжала идти быстрым шагом, как породистый рысак — сильные ноги и крутая, как у какой-нибудь аллегорической скульптуры, грудь в самом деле чем-то напоминали першеронку. Я смотрел на нее, пока мы не разминулись. Она же меня не заметила. Никогда больше — я знал — она не будет меня замечать. От внимания Рене, конечно, не ускользнуло, куда я так пристально глядел, и она язвительно сказала:

— Видел эту бабищу с мужскими замашками, что прошла мимо? Сразу видно, что за птица.

Я промолчал.

Между тем уже успели загореться все лампочки. Господин Каракалла перевесил свою тросточку с правой стороны на левую. Во время этого маневра я попал в его поле зрения. Видимо, фотографии перед окошком пробудили в нем воспоминания, и он обратился к своей собеседнице:

— А что, тот ненормальный — помните, который все хотел всучить чужие фотографии вместо своих,— больше не являлся?

Она пожала плечами.

В глубине конторы стал теперь виден плотный торс господина Буссенака, склонившегося над толстой бухгалтерской книгой.

Наконец госпожа Тарифф, заполнив все графы в журнале, берет фотокарточки и кладет перед собой. Прежде чем приклеить, она, как и в прошлый раз, бросает взгляд на мое лицо, и у меня возникает ощущение, что сомкнулась какая-то щель во времени, как будто все случившееся со мной уместилось в одно бесконечно растянувшееся мгновение, которое теперь вновь сжалось и превратилось в самую обычную секунду.

Оскар и Эрик

Триста лет назад в стране Ооклан жила семья художников Ольгерсонов, писавшая одни шедевры. Все Ольгерсоны были знаменитыми, уважаемыми мастерами, и слава их не распространялась за пределы родины лишь потому, что Оокланское королевство, затерянное далеко на севере, не имело связей ни с одной страной. Оокланцы выходили в море только рыбачить и охотиться, а корабли смельчаков, пытавшихся найти путь на юг, разбивались о рифы.

У старого Ольгерсона, первого в роду художника, было одиннадцать дочерей и семь сыновей, имевших недюжинные способности к живописи. Восемнадцать Ольгерсонов сделали прекрасную карьеру, добились стипендий, признания публики, наград, но детьми не обзавелись. Видя, что вопреки всем заботам род его угасает, уязвленный старик в восемьдесят пять лет взял в жены дочь охотника на медведей, и вскоре она произвела на свет сына по имени Ганс. И тогда старый Ольгерсон спокойно умер.

Обучившись живописи у своих восемнадцати братьев и сестер, Ганс стал великолепным пейзажистом. Он писал ели, березы, луга, снежные равнины, озера, водопады, и на холсте они получались воистину такими, какими их сотворил Господь. Когда зрители глядели на зимние ландшафты Ганса, у них мерзли ноги. Однажды пейзаж с елью показали медвежонку, и он тут же попытался взобраться на дерево.

Ганс Ольгерсон женился, и у него родились два сына. Старший, Эрик, был начисто лишен художественного дара. Его манили лишь охота на медведей, тюленей, китов да мореплавание. Это приводило в отчаяние всю семью, особен-

но отца, и он обзывал Эрика «тараканом» и «моржовой башкой». Зато Оскар, годом младше брата, уже в раннем возрасте обнаружил яркий талант живописца, несравненную твердость руки и чувствительность. В двенадцать лет он писал пейзажи, которым мог бы позавидовать любой из Ольгерсонов. Ели и березы Оскара напоминали живые деревья еще больше, чем отцовские, и уже тогда за полотна мальчика платили бешеные деньги.

Вопреки несходству своих пристрастий братья нежно любили друг друга. Если Эрик не рыбачил и не охотился, то сидел у Оскара в мастерской, а тот лишь с ним и бывал понастоящему счастлив. И радость и горе они делили пополам.

К восемнадцати годам Эрик стал хорошим моряком, его брали на промысел опытейшие рыбаки. Он мечтал найти проход между рифами, чтобы открыть путь в южные моря. Эрик часто говорил об этом с Оскаром, но юноша, любя старшего брата, преисполнялся тревоги при одной мысли об опасностях, которые сулило это путешествие. Самому Оскару едва исполнилось семнадцать, а его уже считали непревзойденным мастером. Отец с гордостью заявлял, что сына больше нечему учить. Но юный мастер ни с того ни с сего вдруг охладел к живописи. Он забыл о своих великолепных пейзажах, делал какие-то наброски на отдельных листках и тут же рвал их. Узнав о такой странности, Ольгерсоны — их к тому времени осталось пятнадцать — немедленно собрались на совет. От имени славного семейства отец спросил Оскара:

— Милый мой сын, разве вам опостылела живопись?

— О нет, отец, я люблю ее больше прежнего.

— Что ж, прекрасно. А может, этот оболтус Эрик отвлекает вас от работы? Как я сразу не догадался!

Оскара возмутило подобное подозрение, и он возразил, что лучше всего работает именно в присутствии брата.

— Так в чем же дело? Наверное, вы влюбились?

— Простите меня, отец, — сказал Оскар, потупив взор. — Простите и вы, тети, и вы, дяди, но все мы здесь — люди искусства. Поэтому отвечу честно — я встречал много женщин, но ни одна не сумела меня удержать.

Все пятнадцать Ольгерсонов громко расхохотались и принялись отпускать на этот счет весьма вольные шутки, как было принято у оокланских художников.

— Вернемся к делу,— прервал родственников Ганс.— Не таитесь, Оскар. Поведайте нам, отчего вы потеряли покой. Если у вас есть какое-нибудь заветное желание, скажите прямо.

— Хорошо, отец. Позвольте мне перебраться на год в ваш дом в Р'ханских горах. Я хотел бы там пожить в уединении. Думаю, что мне удастся хорошо поработать, особенно если вы отпустите брата со мной в эту глушь.

Отец охотно дал согласие, и на следующий же день Оскар и Эрик по санному пути уехали в Р'ханские горы. Мелькали дни, Ольгерсоны часто вспоминали отшельников, главным образом — Оскара. «Вот увидите,— говорил отец,— увидите, какие чудесные картины он привезет. Я уверен, мальчик что-то задумал». Ровно через год, день в день, Ганс сам отправился в Р'ханские горы и неделю спустя прибыл к сыновьям. Оскар и Эрик издалека увидели отца и, как полагалось, встретили его на крыльце: один держал подбитый волчьим мехом халат, другой — блюдо дымящегося жаркого из легких нерпы. Но отец едва притронулся к угощению — ему не терпелось насладиться пейзажами Оскара.

Войдя в мастерскую, Ганс онемел от ужаса. На всех холстах были намалеваны какие-то нелепые, уродливые предметы — судя по зеленой окраске, вероятно, растения. Одни уродцы состояли из огромных лопухов, похожих на медвежьи уши, зеленых и утыканных колючками. Другие напоминали свечи и подсвечники с многочисленными рожками. Меньший ужас, несмотря на всю свою абсурдность, вызывали только непомерно высокие чешуйчатые свечи с двухаршинными пучками листьев на макушке.

— Что это за мерзость? — рявкнул Ганс.

— Это деревья, отец,— отвечал Оскар.

— Что-о? Вот это — деревья?

— По правде говоря, я боялся показывать вам свои картины и понимаю, что вы слегка удивлены. Но такой я вижу

теперь природу, и ни вы, ни я ничего не можем с этим поделать.

— Ну, мы еще посмотрим! Значит, вы удалились в горы, чтобы предаваться подобному извращению природы? Извольте-ка немедленно возвратиться домой. А с вами, Эрик, будет особый разговор!

Через неделю отец с сыновьями приехали в город. Все пятнадцать Ольгерсонов были приглашены познакомиться с новыми работами Оскара. Двое тут же скончались от испуга, остальные высказались за принятие самых строгих мер. Полагая, что вкус младшему брату испортил Эрик, Ольгерсоны решили: он должен на два года покинуть страну. Молодой моряк снарядил в плавание корабль, собираясь пройти между рифами в теплые моря.

На причале Эрик нежно обнял плачущего брата и простился с ним, тоже утирая слезы:

— Мы расстаемся, быть может, на долгие годы. Не теряйте надежды — я непременно к вам вернусь.

А Оскара Ольгерсоны посадили в мастерской под замок — пока он снова не станет писать как полагается. Юноша безропотно подчинился решению семьи, но первый его пейзаж, написанный в заточении, изображал куст тех же медвежьих ушей, а второй — вереницу подсвечников на фоне песков. Разумное видение природы не возвращалось к Оскару — напротив, он с каждым днем все больше углублялся в дебри абсурда, и болезнь эта не поддавалась лечению.

— Да поймите же, — сказал ему однажды отец, — ваши картины посягают на самое суть искусства! Художник не имеет права писать то, чего не видит.

— Но если бы Бог создавал лишь то, что видел, он ничего бы не создал! — ответил Оскар.

— Ах, вы еще и философствуете! Наглец! Подумать только, ведь у вас перед глазами были одни хорошие примеры! Скажите по совести, Оскар, когда вы видите, как я пишу березу, ель... Словом, что вы думаете о моих картинах?

— Простите меня, отец...

— Прошу вас, отвечайте откровенно.

— Ну, если откровенно, я бы просто швырнул их в печь.

Ганс Ольгерсон молча проглотил оскорбление, но через несколько дней под предлогом того, что сын расходует слишком много дров, выгнал его из дому. На последние деньги Оскар снял в порту лачугу и поселился там, прихватив с собой лишь ящик с красками. Так начались его мытарства. Чтобы заработать на хлеб, он разгружал суда, а в свободное время продолжал писать композиции из медвежьих ушей, подсвечники и перьевые метелки. Его живопись и так не пользовалась спросом, а тут еще стала предметом всеобщих насмешек. Абсурдные холсты были притчей во языцех. Годы шли, и чем дальше, тем хуже жилось Оскару. Его прозвали Оскаром-дурачком. Дети плевали ему вслед, старики бросали в него камни, а портовые шлюхи, завидев его, крестились.

Как-то раз — это случилось четырнадцатого июля — в порту и в городе разнеслись невероятные слухи. Смотритель маяка заметил вдали легкий, стройный корабль с позолоченным бушпритом, идущий под пурпурными парусами. В Ооклане еще не видывали таких чудес. Сам бургомистр со своими советниками отправился встречать заморское судно и с удивлением узчал, что оно принадлежит Эрику: моряк вернулся на родину из кругосветного путешествия, длившегося десять лет. Услышав эту новость, Ольгерсоны протолкались к причалу сквозь толпу. Эрик в голубых атласных панталонах, шитом золотом сюртуке и в треуголке сошел на берег. Ганс поспешил было обнять его.

— Я не вижу здесь брата, — отстранил отца Эрик, хмурия брови. — Где Оскар?

— Не знаю, — покраснев, ответил отец. — Мы в ссоре.

И тут из толпы с трудом выбрался тощий оборванец.

— Эрик, я ваш брат Оскар, — сказал он.

Моряк заплакал и обнял его, а потом, разжав объятия, грозно повернулся к Ольгерсонам:

— Это вы, старые хрычи, виноваты в том, что мой брат чуть не умер от голода и нищеты.

— Порядок есть порядок,— ответили Ольгерсоны.— Надо было рисовать как следует. Его обучили почтенному ремеслу, а он упрямо малевал пейзажи один другого абсурдней и смехотворней.

— Молчите, вы, старые хрычи, и знайте, что Оскар — величайший в мире художник.

Старые хрычи злорадно ухмыльнулись. А Эрик приказал матросам: — Несите сюда кактусы, финиковые пальмы, равеналы *, аллюодии **, банановые деревья, пеллициеры ***!

И, к изумлению толпы, матросы вынесли на причал ящики с растениями, как две капли воды похожими на уродцев с полотен Оскара. Старые хрычи вытаращили глаза и заплакали от бешенства и досады. Тут все оокланцы упали на колени, прося у Оскара прощения за то, что дразнили его дурачком. Отношение к живописи Ольгерсонов разом переменялось. Эстеты теперь ничего не желали видеть, кроме кактусов и других экзотических растений. Оскар и Эрик построили себе великолепный дом и зажили в нем вместе. Оба брата женились, но это не мешало им по-прежнему нежно любить друг друга. И Оскар рисовал всё чудные да пречудные растения, никому еще не известные, а может, и вовсе не существующие на свете.

Нищий

Жил в городе Детройте, что в штате Мичиган, очень бедный и очень набожный человек по имени Теобальд Брэдли. И был у него старенький автомобиль, прослуживший хозяину без малого восемь лет. Брэдли брался за любую работу, какая

* Равенала — растение семейства стрелитцевых, близкородственного банановым; его родина — остров Мадагаскар.

** Аллюодия относится к семейству дидиеревых, по виду напоминает молочай или кактус; встречается на Мадагаскаре.

*** Пеллициера близкородственна мангровому дереву, принадлежит к семейству чайных; растет в тропических лесах Азии и Америки.

ни подвернется, но долго удержаться на одном месте не могло ли не везло, то ли дела по сердцу не попадалось,— вот так он оказался на улице и стал нищенствовать, чтобы прокормить жену Дороти и троих детей.

Рано утром уезжал он на машине просить милостыню и колесил по всему Детройту, лишь бы встретить милосердных даятелей. Отыскав подходящее местечко возле универсального магазина, у отеля, где-нибудь на островке безопасности рядом с переходом или у заводских ворот, Теобальд тормозил, заводил патефон на заднем сиденье, вылезал из автомобиля и, прислонясь к его жалкому, облезлому кузову, застывал с протянутой рукой, а с пластинки неслось: «Ladies and gentlemen, пожалейте несчастного,— у меня сварливая жена и трое детей,— да не забудьте про накладные расходы!» Большинство прохожих даже не обращали на него внимания. А удостоившие попрошайку взглядом отворачивались, увидев крепкого, здорового мужчину в расцвете сил: хочешь есть — иди работать. Но некоторые останавливались, сочувствуя ветхой колымаге давно устаревшей модели. Уродливая форма, неопределенный цвет, продавленные, засаленные подушки, с трудом закрывающийся капот, каркас машины, и там и сям изъеденный, словно проказой, до самого железа,— все это внушало людям глубокую жалость. Они с содроганием воображали себе мотор, его несчастные изношенные поршни, никуда не годный генератор, расхлябанные шестерни, чуть ли не воочию видя, как губят механизм ржавчина, грязь и пыль, и подавали бедняжке на старость кто пять, кто десять центов (деньги бережно принимал владелец). Иногда в конце дня, усевшись за руль и заведя норовистый, чихающий мотор, отчего начинала мелко трястись вся кабина, нищий высовывал руку в окно и получал напоследок еще одну-две монетки.

Часам к шести вечера он возвращался домой, в белый коттеджик с узенькой лужайкой, по соседству с негритянским кварталом. Поставив машину в гараж, он должен, как обычно, выдержать шквал упреков своей супруги, которая едко осведомлялась о размерах дневной выручки. Сорока-

летняя Дороти, одновременно властная и плаксивая, была худа и внешне ничем не примечательна: ее лицо оживляла только обида на мужа или на злую судьбу.

— Как! — восклицала она. — Пять долларов пятьдесят центов (или шесть, или семь — это не имело значения)! Вы шутите, Бальд! Надеюсь, вы не думаете, будто на пять с половиной долларов в день можно прокормить детей и достойно содержать взращенную в лоне почтенного семейства жену? Вы родились в захолустье, в луже близ озера Эри, а ведь мой отец был чиновником в штате Миссури! Ах, зачем я не послушалась тетушки Дженнифер, которая хотела выдать меня за служащего банка? Да что я! Чем жить с таким мужем, лучше бы мне выйти за рабочего. Даже за поляка. Слышите, Бальд, — за поляка!

Теобальд страшился гнева жены почти как гнева Господня и отвечал ей словами утешения и благодати, которые мужчина найдет для супруги при любых обстоятельствах. Он говорил: «Вы правы, дорогая», или: «Истинная правда, душа моя», или: «Увы, друг мой, я заслужил эти упреки». Ему никогда не пришло бы в голову утихомирить свою дражайшую половину парочкой пощечин, как водится, к сожалению, у разных заокеанских племен. Он слишком уважал достоинство женщины, а также и свое собственное, чтобы подвергать его подобным испытаниям. Преследуемый причитаниями Дороти, Теобальд шел на кухню, лез в холодильник, наливал два стакана виски — один ей, другой себе, — ставил их на поднос вместе с бутылкой и кувшином ледяной воды и нес в столовую. Достав из кармана купленную по дороге вечернюю газету, он изучал заголовки на первой полосе, затем открывал спортивную страницу и читал редакционную статью о бейсболе или регби. На улице потоки машин летели по автострадам за город. Супруги Брэдли привыкли к шуму моторов и даже не замечали его. Но иногда Теобальд, прихлебывая уже второй стакан виски, начинал вслушиваться и грезить о сотнях тысяч автомобилей, днем и ночью кативших по магистральям Детройта: они были душой огромного города, смыслом его существования. Он грезил

о гигантских заводах, без передышки выпускавших все новые машины, о громадных автомобильных кладбищах, откуда лом когда-нибудь повезут в переплавку, и, допивая стакан, казалось, постигал глубинную гармонию вселенной.

Где-то между вторым и третьим виски возвращались дети — три сорванца от девяти до тринадцати лет, вечно потные, грязные, часто — в синяках и ссадинах. Дороти жаловалась — они опять играли с ребятами из негритянского квартала — и сокрушалась о печальном соседстве, на которое обрекала семью никчемность отца.

— Вы правы, дорогая, — отвечал Теобальд.

И, обращаясь к сыновьям, прибавлял:

— Нечего вам делать у цветных. Ваше присутствие там совершенно неуместно. Разумеется, я не отрицаю, что цветные как люди тоже достойны уважения. В конце концов они американские граждане. Но если Бог создал одних белыми, а других черными, значит, он хотел подчеркнуть разницу. Этого не следует забывать.

— К черту! — обрывали отца мальчишки. — Сами разберемся. Чего завел свою шарманку? Скорее жрать давай — в брюхе урчит!

Брэдли, широко улыбаясь, только кивал. Ему нравилось думать, будто дети и в самом деле лучше его знают, как себя вести. К тому же он надеялся, что время и жизненный опыт постепенно внушат им надлежащее отношение к цветным. Он шел на кухню, готовил ужин, ел в кругу семьи, мыл посуду, просматривал газетную рекламу и ложился в постель. Дороти, если не уходила в кино, тоже ложилась, взяв женский журнал, читала рассказы о любовных приключениях, завершавшихся выгодным браком, и злобно поносила судьбу и своего супруга. Теобальд же размышлял над каким-нибудь стихом из Библии. За окнами по-прежнему гудели автомобили. Брэдли начинало клонить в сон, он клал Библию на столик у изголовья, разделявший их с женой кровати, и принимался молиться.

— Господи, — шептал он, — да будет благословенно имя Твое! Ты сделал меня бедным, словно Иов. Машина моя

убога, холодильник стар и в жалком моем жилище всего одна ванная комната. Ты сделал меня таким же бедняком, как мои земляки с озера Эри. Я принял испытание с благодарностью, уповая на то, что сие зачтется мне на небесах или даже в юдоли земной. Неисповедимы пути Твои, но я готов на любую жертву. И если бы Ты пожелал призвать к себе жену мою Дороти, я и тут не стал бы противиться.

Однажды вечером, как две капли воды похожим на другие вечера, Дороти читала трогательную повесть о юной сиделке — благовоспитанной барышне, ухаживавшей за респектабельным инженером с годовым жалованьем в шестнадцать тысяч долларов. Свет лампы падал только на журнал, а вся комната была погружена в полумрак. Теобальд завершил размышления над стихом из Библии, вознес молитву Господу и, повернувшись на левый бок, задремал было, как вдруг кто-то коснулся его лица. Открыв глаза, нищий увидел в дальнем, темном углу комнаты ангела, сильного, осиянного мягким светом, который говорил громким, однако приятным голосом: «Теобальд Брэдли, встаньте, облачитесь в одежды свои и спускайтесь в гараж». Дороти ничего не слышала и не замечала. Из-под сиделкиной шапочки выбился белокурый локон и порхнул к щеке шестнадцатитысячедолларового инженера: поцелуются влюбленные или нет? Дороти мучилась неизвестностью. Но скрипнули дверные петли — увидев мужа одетым и готовым выйти из комнаты, она очень удивилась.

— Бальд, вы что, с ума сошли?

— Я в гараж, — лаконично ответил муж, прикрывая за собой дверь.

В доме было темно; ангел шел впереди, предупредительно светясь. Теобальд, желая удостовериться в реальности вестника, дотронулся до него пальцем и ощутил крепкую плоть небесного создания. И перья его широких крыльев тоже были вполне осязаемы. У распахнутых дверей гаража ангел повелел: — Теобальд Брэдли, садитесь за руль. А я — рядом с вами.

— Простите, далеко ли мы направляемся? В баке почти нет бензина.

— Это совершенно неважно,— сказал ангел.

Проезжая по негритянскому кварталу, они остановились на красный свет, и Теобальд заметил (впрочем, не придав этому особого значения), что из кегельбана вышел высокий, атлетического сложения негр с лейкой в руке. Вид у него был растерянный, он поглядывал то на небо, то на свою лейку. Наконец черный квартал кончился. Следуя указаниям ангела, Брэдли свернул в пригород. Они уже проехали больше двенадцати миль, бензина наверняка не хватит.

— Долго ли еще? — спросил Теобальд.— Похоже, мы не дотянем.

— Ничего не бойтесь,— услышал он в ответ.— С вами я.

И вдруг шум мотора смолк, хотя механизм работал нормально. Теобальд тревожно поглядел на ангела.

— Вперед, вперед!

Детройт остался далеко позади, за окном мелькали поля. Брэдли вел машину с такой легкостью, будто бак был полон до краев, и ничего не страшился. Его обуял мучительный восторг — весьма типичный симптом при созерцании откровенных чудес. Он пытался вообразить невообразимую и вместе с тем реальную картину: цилиндры, где не сгорали газы, куда не попадал бензин и где поршни, движимые лишь ангельской волей, ритмично двигались туда-сюда.

— Но как же вам это удастся?..

— Я тут ни при чем,— отвечал ангел.— Это все Великий Мотор.

— Великий Мотор?

— Теперь налево. Вот мы и добрались.

Луна освещала голую, без единого деревца равнину. Машина свернула на узкую каменистую дорогу, которая вела к четырем большим прямоугольным строениям. Деревянные, на железных каркасах ангары больше напоминали заводские подсобные помещения, чем фермерские сараи. Фары выхватили из темноты домик слева от дороги и нечто

вроде гаража — справа (видно, в этой пристройке когда-то был хлев).

— Приехали,— промолвил ангел.— Выходите.

Теобальд взглянул на часы. Без пяти полночь. Посреди бывшего хлева, переоборудованного под автомастерскую, стоял новый автомобиль с поднятым капотом. Через приоткрытую дверь Брэдли увидел молодых мужчину и женщину, склонившихся над мотором. В сложенных чашечкой ладонях женщина держала болты и гайки, а мужчина, время от времени выуживая нужную ему деталь, ковырялся в моторе английским ключом.

— Они начали работу ровно девять месяцев назад,— поведал ангел.

Как Теобальд потом рассказывал и как писал в своей «Книге Откровений», в этот миг вместил Господь небо и землю разом в груди его, и понял он, что избран меж людей свидетельствовать радость великую. Вдруг ноги сами понесли его к хлеву. Рядом шествовал ангел. Часы показывали полночь. Мужчина положил английский ключ и, хлопнув женщину по спине, сказал:

— Ну вот, готово!

— Он родился! — возопил ангел, рухнув на колени.— Родился вам плод трудов Мужчины и Женщины! Слава Великому Мотору на земли и на небеси, слава Великому Мотору, наделяющему энергией всех и вся. Пришел в мир долгожданный Мессия, воплотившись в мотор простого автомобильчика, сделанного парой невинных юных механиков!

Мужчина, женщина и Теобальд также преклонили колена. В углу мастерской сам собой завелся патефон, полилась небесная музыка. Тут к двери подрулили три машины и вошли один за другим три человека.

— Я прибыл из Чикаго,— сказал первый, державший канистру с бензином.— Я король бекона.

— Я прибыл из Филадельфии,— сказал второй, державший бидон машинного масла.— Я король обоев.

Третий, высокий негр с лейкой в руках, скромно сообщил:

— Я прибыл из Детройта на такси. В своем квартале я — король кегельбана.

И, падши, поклонились автомобильчику, и, приблизившись, налили в мотор бензина, масла и воды. Молодой механик уселся за руль, включил зажигание. Присутствующие, затаив дыхание, ждали. Мотор работал плавно, бесперебойно и весело похрапывал. И вот ангел говорит женщине:

— Губернатор штата Мичиган реквизирует все автомобили, выпущенные на этой неделе. Не теряйте ни минуты! Садитесь рядом с супругом и бегите в Мемфис.

Женщина тотчас повиновалась, и новенькая машина, покинувши хлев, укатила во тьму ночи. Мотор работал плавно, бесперебойно и весело похрапывал.

— Бальд! — воскликнула Дороти.— Ради Бога, перестаньте храпеть! Бальд! Это просто невыносимо!

Наутро, когда муж встал, Дороти снова пожаловалась, что он мешал ей спать.

— Простите, дорогая,— смутился Теобальд.— Не знаю, отчего я так храпел. Наверное, устал после дальней поездки.

— Какой еще поездки?

— Ну, помните, этой ночью, когда я пошел в гараж, а вы еще крикнули мне: «Бальд, вы что, с ума сошли?»

— Ничего подобного я не говорила,— отрезала Дороти,— и даже не слышала, как вы вставали. Должно быть, вам все это приснилось или вы действительно сошли с ума, о чем я, кстати, давно уже твержу.

— Вы правы, душа моя.

Расстроенный Теобальд решил, будто ему и вправду приснился сон. Скорбь в сердце своем, он умылся, отправил умываться детей и приготовил завтрак. На кухне, где семья обычно ела по утрам, Дороти со смехом объявила сыновьям, что их отец сошел с ума: он, видите ли, вообразил, что среди ночи куда-то там ездил. Мальчишки, заливаясь хохотом, стали издеваться над отцом. В душе униженного Теобальда вдруг вспыхнул священный гнев, и, стук-

нув кулаком по столу, он обозвал жену подлюгой, дрянью, вонючкой, облезлым чучелом, дряхлым, бездушным мотором. Затем яростно швырнул салфетку на пол и вышел вон. Дороти растерялась, — может, открыть окно и позвать на помощь? — а потом на всякий случай хлопнулась в обморок.

В гараже Теобальда охватило сомнение: может, ему в самом деле привиделся сон? Старенький автомобиль, который возил его туда, где он узрел чудо живое, казалось, всем своим видом утверждал обратное. И внезапно дух Брэдли озарился правотою: на полу возле двери он увидел белое перышко. Неискушенный наблюдатель, вероятно, мог бы принять его за цыпляче, однако форма, цвет и даже сама субстанция пера являли взгляду невиданное изящество, поэтому Теобальд совершенно уверился в том, что оно выпало из ангельского крыла. Это было ясно, как Божий день.

Как обычно, Брэдли поехал попрошайничать на своей колымаге по улицам и проспектам Детройта, но, собрав милостыню, сразу не уезжал, а принимался возвещать божественное откровение. Он рассказывал прохожим, что случилось с ним прошедшей ночью и как он был избран Великим Мотором свидетельствовать новое слово благовествования. Разумеется, Теобальд многое преувеличивал. Он приукрашивал события и даже слегка измышлял; так поступают честные люди, чтобы внушить дремлющим умам и сердцам благородную истину.

— Великий Мотор послал мне откровение чрез Ангела Своего, который сказал: «Теобальд Брэдли, отныне ты — пророк новой религии. И поклонятся люди мотору, вдохновенному Духом Божиим, и претворятся по его подобию, и достигнут совершенства...»

Нищий пророчествовал все утро, но не тронул ни единого сердца. Равнодушие прохожих не обескуражило его, а лишь укрепило в вере своей. Где-то после обеда он отправился пророчествовать на одну из центральных улиц, и тут ему почудилось, что вот-вот откроется путь к серд-

цам людским. Прохожие пока не останавливались возле него, но кое-кто уже замедлял шаг и вслушивался. И вдруг, едва Теобальд приступил к заключительной части своей речи, ему на шею с радостным возгласом кинулась некая дама — седая, в очках с золотой оправой и в огромной шляпе, усыпанной желтыми розами в два ряда и овеянной облаком зеленого тюля. Она заявила, что переходит в новую веру и сейчас же поведет Теобальда в редакцию крупнейшей детройтской газеты, где у нее есть солидные связи: — Сегодня вечером, в шестичасовом выпуске мы дадим вашу статью на первой полосе. А завтра займемся паблисити: плакаты, афиши, на каждом перекрестке — человек-сэндвич*... У нас будет всё!

И тут же они уселись в машину Брэдли.

— Мое сердце исполнено восхищения, — трубила дама, — и небесной любви! Сколь прекрасна и трогательна ваша новая религия! Кстати, о расходах на рекламу: у вас, кажется, нет ни гроша?

— Великий Мотор пожелал, чтобы его пророком стал простой нищий.

— Ладно, ударим по рукам: даю двадцать тысяч долларов, но смотрите, чтобы дело выгорело.

— Великий Мотор не забудет верно служивших ему.

— Милый Великий Мотор! Однако давайте начистоту. Ваш вклад — Великий Мотор, мой — деньги, без которых он ничто. Значит, по справедливости моя доля прибылей — пятьдесят процентов.

— Прибыли, конечно, будут значительны, — подтвердил Теобальд. — Однако для меня благотворительные цели — прежде всего. По совести говоря, я не могу вам дать больше двенадцати процентов.

В обшарпанной колымаге Брэдли разыгрался жаркий спор, во время которого дама несколько раз делала вид, будто хочет уйти. В итоге она получила двадцать два процента и сан Динамо в новой церковной иерархии.

* Человек с плакатами на спине и груди.

Сделка была заключена, и дела сразу пошли в гору. Благодаря статье Теобальда, появившейся на первой полосе, и шумному паблисити толпы неофитов хлынули в лоно Великой Моторизованной Церкви, а деньги — в карманы Брэдли, которому владельцы автомобильных фирм наперебой предлагали свои самые роскошные модели. Первая служба состоялась воскресным утром в кинотеатре под открытым небом. На ней присутствовало около тысячи двухсот верующих в пятистах автомобилях, выстроенных безукоризненными рядами. У подножия экрана Теобальд совершал богослужение в шикарной машине, по им самим установленному ритуалу. Многие из присутствующих вытирали слезы, но накал чувств достиг апогея во время причастия, когда Теобальд Брэдли завел мотор и все пятьсот моторов разом загудели. Поставив машину боком, пророк открыл дверцу и начал читать свою первую проповедь. Просто и ясно он объяснил, что с приходом Мессии глубинное духовное познание двигателя внутреннего сгорания неминуемо направит человечество путями Господними. Перейдя к мужчине и женщине, он сравнил их с двумя основными деталями мотора, которые ни в коем случае не следует менять по легкомыслию:

— Великий Мотор послал мне откровение чрез Ангела Своего, указавшего мне дорогу, и устами Ангела возвестил: «Не меняй детали мотора своего без нужды истинной, ибо тем не укрепишь его от немощи. Таково и с женитьбою. И развод есть мука, тягостная душе и телу. Но тебя, Теобальд Брэдли, Великий Мотор нарек пророком Своим и повелел тебе принять муку сию душе и телу за всех мужчин и женщин».

И действительно, Теобальд развелся с Дороти (весьма неохотно) и взял жену другую, которую покинул через четыре месяца, и сочетался с третьей. Так вошло у него в обычай, нимало не страшась претерпеваемой муки, жениться два-три раза в год. И может, по воле случая, а может, по выбору Великого Мотора его новые супруги всегда были молоды и красивы.

Содержание

- 5 *Е. Злобина. Мир открытых возможностей.*
- 14 *Красавчик. Перевод Вал. Орлова (I—IX) и Н. Мавлевич (X—XV)*
- Рассказы
- 176 *Оскар и Эрик. Перевод И. Истратовой*
- 181 *Нищий. Перевод И. Истратовой*

МАРСЕЛЬ ЭМЕ

КРАСАВЧИК

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова, Н. Воронцова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1738

Сдано в набор 21.04.90. Подписано в печать 12.02.91. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,13. Тираж 50 000 экз. Зак. № 718. Цена 3 р.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Марсель Эме (1902 —1967) — французский писатель — прозаик и драматург. До начала литературной деятельности сменил несколько профессий, был служащим банка, мелким торговцем, статистом кино. В 1926 году вышел первый роман М. Эме "Брюльбуа". Затем последовали "Зеленая кобылка", принесшая автору мировую известность, "Низкий домик", "Самый долгий путь", "Ящики незнакомца", "Красавчик", сборники рассказов "Карлик", "Человек, проходивший сквозь стены", "Оскар и Эрих" и др. Такие характерные для прозы Марселя Эме черты как совершенство стиля, юмор, элементы абсурда и фантастики в сочетании с реалистичностью бытовых и психологических деталей свойственны и его драматургии. Пьесы Эме "Чужая голова", "Лунные птички", "Синяя муха" и др. поставлены на сценах многих стран мира.